Криста
Вольф
Московские дневники
Кто мы и откуда
текст

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Немецкая писательница из ГДР Криста Вольф, лауреат многих литературных наград, в том числе Немецкой книжной премии и Премии Томаса Манна, известна русским читателям своими романами «Размышления о Кристе Т.», «Медея», «Кассандра» и др. Она десять раз приезжала в СССР и с официальными делегациями, и просто в гости к друзьям. Эта книга — ее впечатления о Москве, Киеве, Ленинграде, Риге, размышления об общественной и политической жизни, о судьбах русского и немецкого народа, о литературе и жизни людей в нашей стране. Криста Вольф рассказывает о своих коллегах-литераторах и переводчиках — Ефиме Эткинде, Льве Копелеве, Константине Симонове, Вере Инбер, Альберте Карельском и многих других, с которыми ей довелось встречаться. «И еще я твердо решила: буду учить русский», — написала она после первого приезда в Москву.

- Криста Вольф
  - Информация от издательства
  - От немецкого издателя
  - Герхард Вольф. Кто мы и откуда…
  - Первая поездка. 1957 г. В Москву и Армению в составе делегации писателей ГДР, 1–23 июня 1957 г.
    - * * *
    - Герхард Вольф о первой поездке
  - Вторая поездка. 1959 г. В Москву и Киев на III съезд Союза писателей СССР 17–29 мая 1959 г.
    - * * *
    - Криста Вольф. Об Отто Готше (2010)
    - Герхард Вольф о второй поездке
    - Повестка дня съезда писателей
    - Криста Вольф — Владимиру Стеженскому, 3 сентября 1960 г.
    - Владимир Стеженский — Кристе Вольф, 14 сентября 1960 г.
  - Третья поездка. 1963 г. В Москву с Бригиттой Райман, 7–16 октября 1963 г.
    - * * *
    - Герхард Вольф о третьей поездке
    - Из дневника Бригитты Райман, 8–16 октября 1963 г.
    - Аркадий Ерусалимский — Кристе Вольф, 26 мая

1965 г.
- Криста Вольф — г-же Ерусалимской, 3 декабря 1965 г.

- Четвертая поездка. 1966 г. Через Москву в Гагру на Черном море, 10 октября — 12 ноября 1966 г.
  - * * *
  - Герхард Вольф о четвертой поездке
  - Владимир Стеженский — Кристе Вольф. Москва, 20.12.67
  - Криста Вольф — Владимиру Стеженскому
  - Криста Вольф. Свое собственное (1966). Юрий Казаков
  - Криста Вольф. Смысл нового дела (1967). Вера Инбер
- Пятая поездка. 1968 г. По Волге в Горький и через Москву в Ленинград и Вильнюс, 17 июня — 3 июля 1968 г.
  - * * *
  - Из дневника Макса Фриша, 17–22 июня 1968 г.
  - Герхард Вольф о пятой поездке
  - Криста Вольф. Встречи. К 70-летию Макса Фриша (1981). Перевод А. Карельского
  - Криста Вольф — Льву Копелеву
  - Лев Копелев — Кристе Вольф
  - Криста Вольф — Льву Копелеву
- Шестая поездка. 1970 г. В Ленинград и в писательский дом отдыха Комарово, 14–29 июля 1970 г.
  - * * *
  - Криста Вольф. Воспоминания о Ефиме Эткинде (2010)
  - Герхард Вольф о шестой поездке
  - Лев Копелев — Герхарду Вольфу
- Седьмая поездка. 1973 г. В Москву на выставку, посвященную Маяковскому, 14–29 июля 1973 г.
  - * * *
  - Герхард Вольф о седьмой поездке
  - Криста Вольф. Вопросы к Константину Симонову (1973). Перевод Л. Герасимовой
  - Криста Вольф. Четверг 27 сентября 1973 г. Кляйнмахнов, Фонтанештрассе: визит Юрия Трифонова
  - Лев Копелев. Образы правды О романе Кристы Вольф (1988)
- Восьмая поездка. 1981 г. В Москву, 1–5 декабря

1981 г.
- * * *
- Герхард Вольф о восьмой поездке

○ Девятая поездка. 1987 г. В Москву и Ригу, 5–25 июня 1987 г.
- * * *
- Герхард Вольф о девятой поездке
- Отрывки из беседы переводчиков Нины Федоровой и Альберта Карельского с Евгенией (Женей) Кацевой (1988)

○ Десятая поездка. 1989 г. В Москву, 9–14 октября 1989 г.
- * * *
- Криста Вольф. Прощание с Москвой (2010)
- Герхард Вольф о десятой поездке

○ IN MEMORIAM
- Герхард Вольф. Памяти Ефима Эткинда и Льва Копелева
- Криста Вольф. О разнообразных существах внутри нас. Переписка с Ефимом Эткиндом (1992)
- Ефим Эткинд. Суть сути, или «Похвала памяти» (1994)
- Ефим Эткинд. Свобода. Герхарду Вольфу, in memoriam нашего «социалистического» прошлого
- Лев Копелев. Писательница под расколотым небом. Криста Вольф (1993)
- Криста Вольф. С абсолютным чутьем к терпимости. Надгробная речь по случаю кончины Льва Копелева (1997)

○ Библиография
○ Источники иллюстраций
○ Указатель имен
○ Над книгой работали

• notes
○ 1
○ 2
○ 3
○ 4
○ 5
○ 6
○ 7
○ 8

- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51

Криста Вольф
Московские дневники. Кто мы и откуда…
Путевые заметки, тексты, письма, документы 1957–1989 гг.

Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?

Борис Пастернак

НАЯВУ
И то зеркало, где, как в чистой воде,
Ты сейчас отразиться мог.
И время прочь, и пространство прочь…
Но и ты мне не можешь помочь.

Анна Ахматова

ВО СНЕ
Черную и прочную разлуку
Я несу с тобою наравне.
Что ж ты плачешь? Дай мне лучше руку,
Обещай опять прийти во сне.

Анна Ахматова

Информация от издательства

Издание подготовлено Герхардом Вольфом в сотрудничестве с Таней Валенски.

Перевод с немецкого Н. Федоровой

© Suhrkamp Verlag Berlin 2015. All rights reserved by and controlled through Suhrkamp Verlag Berlin

© «Текст», издание на русском языке, 2017

От немецкого издателя

Настоящее издание основано на оригинальных записях Кристы Вольф о ее поездках в СССР в 1957–1989 гг., хранящихся в архиве Кристы Вольф в Берлинской академии искусств и, за исключением одной машинописной страницы заметок о шестой поездке, сделанных от руки.

Добавления составителя выделены квадратными скобками. Нечитабельные места обозначены [xxx]. В одном месте в целях соблюдения личных прав третьих лиц снято несколько слов, что помечено знаком [XXX].

Несмотря на тщательные поиски, мы не сумели найти всех правообладателей. При обоснованных претензиях просим обращаться в издательство «Зуркамп».

Герхард Вольф. Кто мы и откуда…

Вереницей они проходят передо мною, москвичи, ленинградцы, люди, с которыми ты могла говорить открыто и прямо… Так что некоторое время ты думала: там ведь так много умных критичных людей, способных реформировать эту гигантскую державу изнутри… «Утопия», — говорят сейчас, презрительно опустив уголки губ. Ты видела их усталые решительные лица… в которых вдруг проступил иной дух. Почти никого из них уже нет…

Криста Вольф. Город Ангелов, или The Overcoat of Dr. Freud

По окончании Второй мировой войны Криста Вольф постоянно вела личный дневник (юношеский ее дневник мать сожгла перед бегством из родного Ландсберга[1]), просто чтобы зафиксировать, что с нею происходило и что она об этом думала. Однако позднее она никогда не считала эти записи частью своего литературного творчества, не в пример, скажем, Максу Фришу, который полагал свою дневниковую прозу отдельным жанром. Исключение составляют тексты книг «Один день года» и «Один день года в новом столетии», которые она непрерывно писала с 1960 года и до самой смерти, причем с намерением позднее их опубликовать. Удивительно и неповторимо через ее тогдашние заметки и их переписку познакомиться с Максом Фришем и Кристой Вольф во время их первой встречи на волжском пароходе.

Предлагаемые здесь записи Кристы Вольф о ее и наших совместных поездках в Москву и в Советский Союз в 1957–1989 годах находились в ее архиве наряду с частными дневниковыми заметками. Порой они необычайно точны и подробны, порой — лишь как бы моментальные кадры, неподкупно фиксирующие то, что она видит и переживает, узнаёт и думает. Зачастую неожиданные, а позднее и запланированные встречи и знакомства

с людьми — недоверчивыми чиновниками от литературы, переводчиками ее текстов и писателями — вкупе с публичными декларациями и собственными впечатлениями позволяют ей увидеть внутреннее состояние и историю общества, называющего себя социалистическим. Некоторые встречи перерастают в многолетнюю дружбу.

Поэтому поездки Кристы Вольф еще и отправная точка размышлений о произведениях русских писателей. Одних сегодня мало кто знает, книги других могли быть опубликованы только на Западе, третьих в ту пору выслали из страны и лишили гражданства.

Вместе с именами до нас доносятся из минувшего столетия их голоса. Это свидетельства стойкости, мечтаний, ярко выраженного чувства терпимости, необходимой для выживания. Таким образом, смею надеяться, они помогут и пониманию конфликтов и опасностей наших дней.

Первая поездка. 1957 г. В Москву и Армению в составе делегации писателей ГДР, 1–23 июня 1957 г.

* * *

3 июня 57 г.

Москва!

Перед отъездом я спрашивала себя, что в Москве в первую очередь произведет на меня впечатление: аэропорт, встречающие (Стеженский, Ажаев, Михалков, Медведев и др.), дорога в город — большие новостройки на окраине. Как вдруг нас обогнала «победа», и я увидела профиль молоденькой, лет 14–15, девушки — белокурые волосы, подколотые венчиком, зеленый пуловер, ясное, задумчивое лицо.

Вот это меня взволновало.

Красная площадь

А на следующий день: посмертная маска Маяковского. Такая спокойная, умиротворенная. Совсем не как его последняя фотография, незадолго до смерти: напряженная, упрямая, ожесточенная. Теперь же: он поставил точку, пришел к концу.

Очень симпатичные экскурсоводы в Музее Маяковского: две молодые женщины или девушки (одна ждала ребенка), очень скромные, достойные и уверенные. Никакой навязчивости. (Надо попробовать с ними поговорить.)

«Клоп» Маяковского: неожиданная пьеса. После множества

старомодного, даже китчевого, встречающегося повсюду, вдруг что-то вполне современное, чему большая часть зрителей восторженно аплодировала (много молодежи, в том числе очаровательные влюбленные парочки). Те же зрители накануне вечером бурными овациями встречали довольно посредственную татарскую оперу «Муса Джалиль», потому что по содержанию она потрясающая и прогрессивная (Мусу Джалиля убили в Моабите нацисты).

Вообще, бросается в глаза, что здесь нет снобизма, ни в чем. На Сельскохозяйственной выставке крестьяне и крестьянки подолгу сидят перед таблицами, слушают подробные объяснения экскурсоводов и делают неловкие, но точные записи. Колхозы послали их на Выставку в Москву как лучших работников, и они, конечно, должны дать что-то взамен. Огромная серьезность, вера в смысл прилежания. И это, пожалуй, самое главное.

Делегация на прогулке в окрестностях Москвы. Слева направо: два советских функционера, далее Вольфганг Йохо, Криста Вольф, Эдуард Цак, Петер Хухель, Моника Хухель

Открытка Кристы Вольф Герхарду Вольфу. Сюжет на открытке: Университет им. Ломоносова в Москве

К сожалению, ассортимент в магазинах невелик, это верно, и витрины выглядят отнюдь не заманчиво. (В ГУМе мы еще не побывали.) Одежда очень старомодная (правда, вчера в новом и новаторском фильме показывали и более современную, возможно, в целях ее пропаганды).

Вчера вечером я через переводчика довольно долго

разговаривала с нашей официанткой Асей. Необычайно привлекательная, хорошенькая женщина моих лет, обаятельная, очень проворная, умная, глаза живые. Поначалу она смущалась, но потом без утайки рассказала о себе: зарабатывает она 600 рублей, а с премиальными за выполнение плана большей частью тысячу. Муж у нее механик, пятилетнего сынишку зовут Евгений. Работает Ася с четырнадцати лет, сначала токарем, потом в литейной и вот уже три года здесь, в гостинице. В рабочее время посещает курсы немецкого языка, чтобы затем стать «администратором». Работа ей очень нравится. Уже шесть лет она состоит в партии и гордится этим.

О проблемах молодежи в Москве: несколько месяцев назад принят закон, который уже за шумный скандал на улице предусматривает двухнедельный арест. Тогда они работают бесплатно. В гостинице тоже было два таких инцидента. И товарищеский суд, в который выбрали Асю, постановил объявить комсомольцам предупреждение и понизить в должности.

Ася очень интересуется литературой. Получает по подписке собрания сочинений Пушкина, Лермонтова, Гоголя и др. Они с мужем, который тоже много читает, спорят о литературе. Сама она с ее именем сразу же представилась как тургеневская героиня.

Наши проблемы Восточного и Западного Берлина для нее непостижимы.

11.6

Первые дни в голове у меня царила абсолютная пустота, но теперь, благодаря впечатлениям, мысли текут потоком; а еще благодаря спорам с Хельмутом и Игорем.

У Игоря есть чему поучиться — умению видеть существенное и твердости. Умение видеть существенное нередко означает — упрощение. Но это упрощение, видимо, зачастую необходимо и отнюдь не недопустимо.

О дискуссиях, проходивших у нас после XX партсъезда, он знал едва ли не лучше нас. Судя по всему, сопровождает он нашу делегацию неслучайно. В первую очередь он не разделял нашей точки зрения, что «либеральные» течения среди нашей интеллигенции были незначительны и не имели шансов принять, скажем, такие формы, как в Венгрии или в Польше. Он считал, что эти течения достаточно сильны и могли бы стать весьма опасны в период, когда определенные круги ищут лидеров. Кстати, Игорь говорит с нами как дипломат, не совсем открыто,

хотя и доверяет нам больше, чем другим. Пробить этот барьер нам не удастся; также и у Стеженского [Владимир Стеженский], который мне все более симпатичен, с тех пор как я узнала, что после 1945-го он был в Берлине культурофицером. По-моему, как он, так и Игорь очень пристально наблюдают за всеми нами и в глубине души дают нам оценку. И возможно, для нашей делегации она не всегда благоприятна, ведь, к примеру, Хухель [XXX] человек тщеславный. А М. Циммеринг, руководитель, отличается редкостной пошлостью. У Йохо свои странности, хотя он сам умеет мало-мальски остроумно отдать им должное. Цак тут еще самый здравомыслящий.

Делегация на берегу озера Севан под Ереваном. Второй слева — Вольфганг Йохо, рядом Владимир Стеженский, Криста Вольф и Макс Циммеринг. В центре — Петер Хухель, армянский участник, затем Эдуард Цак и Моника Хухель, крайний справа — Хельмут Хауптман

Игорь очень зол на статью Кундеры в «Национальцайтунг», где тот писал, что «народность и простота» наконец-то более не являются в искусстве высшими критериями. Ладно, формулировка неправильная, если не подразумевать под простотой примитивность, а под народностью — фальшивую популярность. А здесь, как мне кажется, порой и сейчас думают именно так.

Жизнь здесь, на мой взгляд, живее, непосредственнее, чем у нас. В ней отсутствует ужасный обывательский снобизм, который

— как раз оттого, что сидит и во мне, — не позволяет мне открыто сказать: я люблю свой народ. Народ здесь действительно «народ»: рабочие и крестьяне, трудящиеся определяют облик улиц. Я могла бы пожить тут некоторое время и с каждым днем все больше чувствовала бы себя как дома.

Однако «предприимчивость» пока не умерла: некоторые зарабатывают на жизнь тем, что отмечаются за других в очереди на автомашину, взимая за это 3 рубля. На черном рынке бензин дешевле, чем в обычной продаже, ведь премии за экономию горючего приносят водителям не так много, как продажа того же бензина на черном рынке.

Социалистическая сознательность масс достижима только при широком удовлетворении их потребностей. Одними идеями ничего не добьешься.

17.6.57

Вот и Армения осталась позади. Совершенно незнакомая страна, совершенно незнакомые люди. Большие, интересные впечатления.

21.6.57

Завтра отъезд.

Уже можно подвести итоги?

Мне кажется, важнейшие результаты этой поездки будут косвенными, такими, о каких даже толком не знаешь, как они возникают: мне снова по-настоящему хочется работать, писать. Снова кажется, что стоит.

Не мешало бы когда-нибудь докопаться: каковы в наше время критерии «человечности»? Что именно делает человека человеком? А стало быть, что есть краеугольный камень лучшего общества? В этих вопросах мы уже сегодня добьемся большего успеха. Это — вопросы для литературы.

И еще я твердо решила: буду учить русский.

И буду много читать, больше, чем сейчас. Обязана я этим прежде всего Владимиру, этим и кое-чем еще…

В голове у меня бродит одна история, возможно сюжет для давно — точнее, три года — хранящегося во мне материала. (С тех пор как я познакомилась с Павлом, чей образ для меня теперь окончательно и навсегда безопасен.)

Молодая женщина (примерно 25 лет) между двумя

мужчинами: один — ее муж, директор школы; второй — его друг, учитель в этой школе; сама женщина работает научным сотрудником в неком институте. У них есть ребенок, трехлетний сын. Друг мужа тоже женат на очень привлекательной, милой женщине, у них тоже маленький ребенок.

Муж — по характеру вроде Юста[2]: эгоцентричен, но умен и способен привести в замешательство. У жены жизненный опыт невелик, он ее первый мужчина, годами она живет в плену своей любви к нему. В то время, когда начинается действие, их брак уже начинает входить в привычку, чего оба они, однако, не сознают.

Конфликт возникает, когда друг мужа попадает в ситуацию, где нуждается в людях, которые его поддержат, но такая поддержка потребует от них толики мужества. Муж этой женщины отворачивается от него, по серьезным, разумным причинам. А жена начинает любить друга. И он ее тоже.

В конце жена уйдет от мужа, чье положение внешне не меняется, так как он своевременно пересматривает свою позицию. Но брак друга, вопреки сильнейшей опасности, остается нерушим; жена с ребенком покидает город и находит себе другую работу.

Я бы наверняка не справилась. Больше всего меня интересуют любовные отношения между женой и другом мужа. Продолжительность событий: примерно 4 недели.

Домой возвращаюсь с богатыми дарами, полная благодарности, новых пониманий, которые зреют в душе, полная глубоких чувств.

Гёте: поднимающиеся и деградирующие эпохи.

Герхард Вольф о первой поездке

Как научный сотрудник Союза писателей ГДР Криста Вольф входила в писательскую делегацию, которая посетила Москву и Армению и подписала договор о дружбе между Союзами писателей СССР и ГДР. В составе делегации были поэт Петер Хухель с женой Моникой, писатели Хельмут Хауптман, Вольфганг Йохо, Эдуард Цак и Макс Циммеринг. Принимали их функционеры советского Союза писателей, в частности Василий Ажаев (1915–1968), автор сталинистского производственного романа «Далеко от Москвы» (1948), и Сергей Михалков (1913–2009), весьма популярный поэт, а кроме того, автор выходящих миллионными тиражами детских книг и гимна Советского Союза; в 1968 году во время поездки по Волге мы встретились с ним снова.

Далее, Криста Вольф познакомилась с Владимиром Стеженским (1921–2000), германистом и переводчиком книг Франца Фюмана, Макса фон дер Грюна и Вольфганга Кёппена и др. В 1945 году он служил в Берлине культурофицером Советской армии, а позднее возглавлял международный отдел Союза писателей СССР; состоял в переписке с Анной Зегерс. Со Стеженским мы встречались почти всякий раз, когда приезжали в Москву, и подружились также с его семьей — женой Ириной и живущей вместе с ними дочерью. Как лояльный чиновник от литературы, он участвовал в международных конференциях сторонников мира, например в 1982 году в Гааге, и неизменно представлял официальную позицию. Конечно, диссидент вроде Льва Копелева смотрел на него лишь критически, сравнивая с Чичиковым, главным героем гоголевских «Мертвых душ».

Первое знакомство с Москвой побудило Кристу Вольф к написанию «Московской новеллы», вышедшей в свет в 1961 году, но так и не опубликованной в русском переводе. Также и фильм по этой новелле, который хотел снять режиссер Конрад Вольф, не состоялся ввиду возражений советской цензуры по поводу сценария. Позднее Криста Вольф прокомментировала «Московскую новеллу» в эссе «О смысле и бессмыслице наивности» (1974).

О том, что у Петера Хухеля в это время уже были большие сложности, поскольку его ожидала отставка с поста главного редактора журнала «Зинн унд форм», Криста Вольф определенно не знала; а Хухель, пожалуй, почти не обращал на нее внимания, ведь до тех пор она публиковала только критические статьи и рецензии, — оттого и остраненное замечание в заметках.

О поездке в Армению записей, к сожалению, нет, есть только фотографии, в частности сделанная во время визита к католикосу, главе Армяно-григорианской церкви.

Визит к католикосу, главе Армянской церкви, в Ереване

Вторая поездка. 1959 г. В Москву и Киев на III съезд Союза писателей СССР 17–29 мая 1959 г.

* * *

17.5.59

Москва, наконец-то, когда радостное предвкушение уже миновало. В самолете Штритматтер ведет наблюдения за относительностью пространства и времени: если смотришь в окно на крыло, кажется, что самолет летит тем медленнее, чем дальше взгляд продвигается к его оконечности. При условии, что краем глаза ухватываешь кусочек земли как точку отсчета. Если же пристально смотришь на крыло прямо у фюзеляжа и самолет спокоен, ощущение движения вообще отсутствует. Мы уже за Одером, а автомобиль, который привез нас на аэродром, только-только въезжает в Берлин. Мы говорим об Эйнштейне, о возможности существования «марсиан», которые в последнее время благодаря исследованиям советских ученых вновь стали объектом живого интереса. Ведь один из ученых утверждает, что оба марсианских спутника (при таком-то диаметре!) искусственные, запущенные в незапамятные времена разумными существами. Соответствующая культура давно погибла — мысль об этом меня несколько угнетает. А большая комета, упавшая в Сибири в 1908 году, якобы венерианский корабль!

Криста Вольф, Эрвин Штритматтер, Анна Зегерс и Отто Готше

Высота 2400 м, поля как расплывчатые пятна воды. Прекрасная, слегка мглистая погода до Вильнюса. По обыкновению, обильный обед. Посадка, хотя и при небольших порывах ветра, практически не доставила мне неприятностей. В туалете не работает смыв — как и два года назад, и, как тогда, лежит брусок красного мыла. Застольный разговор: судя по статье в «Нойес Дойчланд», у советских писателей точь-в-точь такие же проблемы, как у нас. Я вставляю: «Надеюсь, на чуть более высоком уровне!» Готше и Штритматтер возражают. Готше разъясняет принципы нашей литературной политики: «Наши больше пропагандируют, обходят молчанием отщепенцев, давая им почувствовать непостоянство славы».

Вильнюс — Москва. Облачные поля, фантастические фигуры. Вверху, в направлении невероятно синего неба, облачные башни и гряды резко очерчены, внизу их края расплываются. Отчасти позади — сизые дождевые и грозовые фронты. Пропеллер, вот это я уже подзабыла, на высоких оборотах становится почти невидим, превращается в мерцающий, желто-белый прозрачный круг, описываемый лопастями. Высота 3000 м.

В Москве прошел дождь. На аэродроме множество самолетов, в том числе «Ту». Встречают нас Стеженский и Собко, очень мило. Шампанское. По дороге в Москву машина обгоняет 300 любителей-марафонцев, тренирующихся к спартакиаде. А дальше огромное кольцо новых домов. Еще недостроенное, но уже заселенное. Новая широкая улица ведет через двухэтажный мост (внизу метро).

Мой статус, конечно, во многом неясен: Стеж. везет меня в немецкое посольство, где воскресный дежурный выдает мне деньги, однако жилье предоставить не может. Возвращаемся. В «Москве» [в гостинице «Москва»] дело улаживается, огромное здание, отлично.

Разговор за столом с Анной Зегерс (которая очень сердечно со мной здоровается), Карллюдвигом Опицем, Штр. [Штритматтером], Го. [Готше], Стеж. [Стеженским]. Зегерс подбивает Готше что-нибудь рассказать; Го. рассказывает кое-что о подпольной работе. Заходит речь об использовании техники: писать на магнитофон или нет? Анна говорит, что постеснялась бы выходить к людям с микрофоном, чтобы записывать свои высказывания. (Я тоже.)

Анекдот Стеженского: во время Ташкентской конференции[3] ночью его будит звонок с аэродрома: прибыли трое негров, денег

у них нет, нужно разместить. Двухместный и одноместный номера в отеле; вся троица закутана в пестрые хламиды, их распределяют по номерам. Наутро выясняется, что один из постояльцев двухместного номера — женщина. Стеженский заключает: «Ну что ж. Жалоб, однако, не последовало. А это главное!»

№ 2: Старушка в первый раз приезжает в Москву и видит на крышах домов лес крестообразных телевизионных антенн; «Боже мой! — восклицает она. — С каких это пор людей хоронят на крышах?»

Еще целый час вверх-вниз по улице Горького, до ГУМа и Красной площади. Красиво. Воскресный вечер и люди, люди. Одеты уже чуть получше, чем два года назад. И витрины получше. Висячие замки на каждом магазине. Собак нет, как замечает Опиц. В квартирах для них нет места. Го. рассказывает о прежних поездках, в том числе двадцатых годов.

Только что перезвон кремлевских курантов по радио. Полночь.

В книжке издательства «Реклам» с сочинениями Горького вычитала: «Любовь — основа культуры, голод — основа цивилизации».

Канцелярия: собака у дверей.

Спенсер: «Из свинцовых инстинктов не сделаешь золотого поведения».

Горький это оспаривает.

В гостиничном вестибюле встречаем Нонешвили. Говорить по-русски я не решаюсь. Но он дарит мне большую шоколадную монету.

28.5

Вечер накануне отъезда. Стало быть — совершенно вопреки моим принципам, — я пока не написала ни строчки. Слишком мы забегались. Да и теперь приходится сперва преодолеть изрядное внутреннее сопротивление.

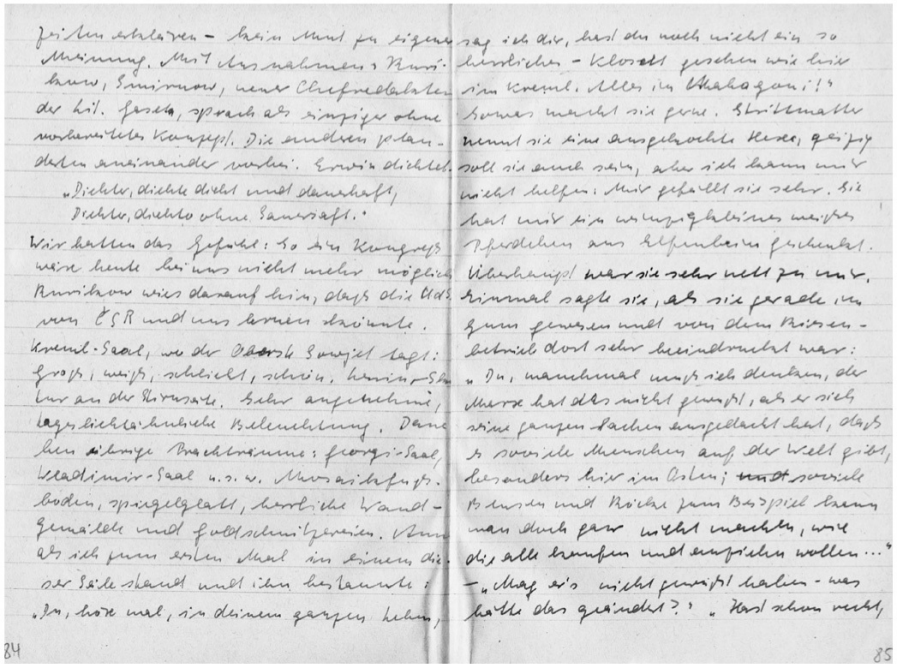
Сначала казалось, что поездка пройдет очень буднично и бесполезно. Съезд — понедельник, вторник, среда, четверг, утро пятницы, утро субботы — сплошное, весьма жестокое мучение. Доклад Суркова скучный, невнятный, затянутый, формалистический, таковы же и дискуссионные выступления. Подчеркнуто правильные заявления, отчетные доклады, но ни одного решительного прорыва в нужном направлении. Любопытно: из 468 делегатов (всего писателей 5600) только 38

начали писать после 1946 года. Серьезное преобладание стариков. И — могу объяснить это себе только как пережиток минувших времен — отсутствие смелости иметь собственное мнение. Есть и исключения: Рюриков, Смирнов, новый главный редактор «Лит. газеты», он один говорил без готового конспекта. Остальные ораторствовали мимо друг друга. Эрвин сочиняет:

Пиши, поэт, стих плотный и прочный,
Пиши, поэт, стих свой без жёлчи.

Нас не оставляло ощущение, что у нас подобный съезд был бы сейчас уже невозможен. Рюриков сказал, что СССР мог бы поучиться у ЧССР и у нас.

Кремлевский зал, где заседает Верховный Совет: большой, белый, простой, красивый. Статуя Ленина у торцевой стены. Очень приятное освещение, похожее на дневной свет. Рядом прочие роскошные помещения: Георгиевский зал, Владимирский зал и т. д. Мозаичные полы, гладкие, как зеркало, чудесные фрески и золоченая резьба. Когда я впервые в восхищении стояла в одном из этих залов, Анна сказала: «Слушай, за всю твою жизнь, говорю тебе, ты не видала такого красивого клозета, как здесь, в Кремле. Сплошное красное дерево!» Любит она такие шутки. Штритматтер зовет ее прожженной ведьмой, якобы еще и скупердяйкой, но я ничего не могу с собой поделать: она мне очень нравится. Подарила мне крошечную белую лошадку из слоновой кости. И вообще была ко мне очень внимательна. Как-то раз, когда побывала в ГУМе и находилась под впечатлением огромной деловой суеты, она сказала: «Знаешь, иногда мне поневоле кажется, что Маркс, когда придумывал все свои штуки, даже не подозревал, что на свете столько людей, особенно здесь, на Востоке; например, такое количество блузок и юбок, какое они все тут покупают и собираются надеть, попросту невозможно произвести…» — «Допустим, не подозревал, но разве бы что-нибудь изменилось?» — «Ты права, ничего бы не изменилось». Она много размышляет о нашем времени, и, похоже, кое-что очень ее мучает. Прежде чем высказать какое-либо опасение, она сто раз извиняется и ссылается на других, которые ей, дескать, нашептали. Боится, как бы ее не объявили ревизионисткой.



Факсимиле: разворот дневника

Криста Вольф на Съезде писателей

1 июня

Опять дома. И опять надо превозмочь уже знакомое болезненное чувство, неизменно возникающее наряду с и под большой и прекрасной радостью новой встречи. С Владимиром я заключила соглашение о дружбе. В последние дни он очень загрустил; «Полный сумбур», — сказал он, стоя передо мной и — не знаю, в который раз, — стягивая концы моей шейной косынки. «Странным образом мне так хорошо с тобой», — сказал он, а я рассмеялась и укорила его за это «странным образом». Но и мне иной раз было не до смеху, хотя я и не думала внушать себе несуществующие чувства. И пыталась убедить его, что он тоже их

не испытывает, безуспешно. Мой муж, сказал он, вытянул счастливый билет, женившись на мне. После приема в Кремле мы перешли на «ты». Вскоре я опять заметила, к чему он клонит. «Ты и твоя жена, вы ведь хорошо понимаете друг друга?» — спросила я у него. Он помолчал. Потом: «Не особенно и не всегда». Здесь-то и была суть дела, позднее он к этому вернулся. Она не интересуется его работой. Они хотя и любили друг друга временами, но уже поговаривали о разводе, а это само по себе плохо и дурной знак. Я перепугалась. Значит, прошлый раз я совершенно напрасно так приревновала его к жене! Так я и сказала и добавила, что она очень мне нравится. Он видит во мне что-то очень хорошее, важное, и это меня вконец смутило. «Ты все понимаешь, — сказал он. — Весьма необычно для твоего возраста».

Кстати, я действительно нашла его уязвимое место: он все больше превращается в аппаратчика. Некоторые тамошние круги еще реже, чем у нас, имеют собственное мнение. Свидетельством тому весь съезд. И для него десять лет работы в Союзе при разных правителях даром не проходят. Над этим замечанием он долго ломал себе голову. Говорил — что меня опять-таки весьма озадачило — об общей усталости своего поколения, которое снова и снова тщетно надеялось на лучшую жизнь. «А когда тебе почти сорок, нужно нечто большее, нежели вечный энтузиазм, нужно что-то прочное». Они с женой живут в одной комнате: «Такого даже ангелы не выдержат». Тут он прав. В огромных новостройках на окраинах обычно тоже дают на семью одну комнату — 5 м^2 на человека. Стеженские вступили в жилищный кооператив и получат 9 м^2 на человека: маленькую двухкомнатную квартирку. Как же хорошо живется нам!

Мне стало ясно, что и сейчас оптимизм, ставший куда более терпимым, прикрывает глубинные, тяжелые подводные течения, в том числе и в литературе. Владимир, судя по всему, дошел до точки, где энергия слабеет и открывается опасный вакуум. На заднем плане стоит вопрос: а есть ли вообще смысл? Не самый плохой вопрос. Во мне он видит все то, что способно помочь ему преодолеть этот жизненный кризис. И имеет в виду не столько и не только меня… Обо всем этом мы говорили открыто, как раз в этом он и нуждался. Друзей у него много, но нет ни одного, с кем он может говорить обо всем и кто понимает его. Жена порой последняя узнает о статьях, какие он где-либо опубликовал. Мне было жаль его, и я ведь не могла дать ему все то, что он хотел от меня получить. В конце концов он обещал мне постараться не грустить, наоборот, быть бодрым и жизнерадостным. И я даже слегка огорчилась, что нельзя быть всем для нескольких людей

сразу. Может, когда-нибудь станет по-другому?

Помимо этого, самыми яркими были периферийные события — грузинская пирушка в грузинском ресторане, где командовал строгий тамада [глава застолья] Нонешвили. Штритматтер сочинил стишок:

Из чуланов долетает по ночам
Плач прекрасных грузинских дам.

Лидия Герасимова, наша сопровождающая, сорокавосьмилетняя женщина, в молодости наверняка очень красивая, в глубине души, под всей своей заботливостью и скромностью, была очень печальна. Ее муж, австриец, с которым она прожила двадцать лет, бросил ее. Дочь, геолог, осенью уезжает на 2–3 года в Сибирь. Это выше ее сил.

Главная тема, звучавшая снова и снова: при всей сходности идеологической ситуации там и здесь существует большое различие — мы живем на границе. Они позволяют себе кое-что, чего мы не можем и не хотим себе позволить: например, огромное количество Ремарка. «Время жить и время умирать» и «Три товарища» читаются взахлеб. Почему? Единодушный ответ: потому что хорошо разработана человеческая тема любви и дружбы. Но это же серьезная критика их собственной литературы! Конечно, известную роль играет и любопытство, ведь они так долго были полностью отрезаны от Запада. Но им необходимо еще много глубоких дискуссий о взаимосвязи мировоззрения и художественного мастерства — чтобы использовать два слова, которые уже стали девизом.

Одну ночь — перед отлетом в Киев — мы провели с Собко и Корнейчуком, который как раз отмечал день рождения. Собко звонил мне каждое утро и прислал корзину цветов. На прощание он выпросил поцелуй, но поцеловал в итоге только руку, потому что вокруг было много народу. А мне именно это и понравилось. У него всего одна нога. Когда Корнейчук рассказал историю немецкого офицера, который ради русской девушки сдался врагу вместе с самолетом, и назвал их современными Ромео и Джульеттой, Собко тихонько сказал мне: «Это не история Ромео и Джульетты; там враждовали только две семьи, а здесь — два народа. И предательство всегда штука скверная, каковы бы ни были обстоятельства». Я бы с удовольствием еще поговорила с ним об этом.

Корнейчук рассказывает вот такой анекдот: много лет назад его и его жену Ванду Василевскую навещал Джон Стейнбек. Застолье, выпивка. Стейнбек критикует советское правительство,

Василевская заставляет его выпить за Сталина. Долгое молчание. Потом Стейнбек говорит: «Выпейте со мной за кресло в Белом доме, осиротевшее после смерти Рузвельта»… Он часами спорил с ними о советской демократии. Только на следующий день, став в ресторане свидетелем потасовки, которая затянулась на целый час, а ни один милиционер так и не появился, он поверил, что демократия в Советском Союзе есть. Анекдот: где можно увидеть в одной постели новые Ленинские и Сталинские премии? — У Корнейчука и Василевской.

Киев прекрасен. Холмы, сады, парки. Новые, широкие улицы, бульвары. Глубочайшее впечатление на меня произвела панорама Днепра и окрестных просторов, открывающаяся от памятника Героям. Очень красивый летний театр.

Корнейчук рассказал о своем визите к Герстенмайеру. (Он хочет написать комедию: Западная Германия с точки зрения советского писателя.) Дочь г. читала Ленина и запретила отцу его ругать. К. передал этой дочери привет.

В Университете имени Ломоносова мы встречались и с немецкими студентами.

Снова посмотрели «Необыкновенный концерт» у Образцова [легендарный кукольный театр]. Великолепно. Позднее в чудесном новом доме Союза писателей мы видели похожий эстрадный концерт.

Гуляла с Бределем по Москве. Говорила с ним о его рукописи. Он интересовался моими замечаниями и жаловался, что в ЦК хотели убрать все конфликты. Я настроена скептически. Книга на самом деле не ахти. Он показал мне Лубянку. По моему впечатлению, Бредель достиг своего предела. Он любит вкусно и обильно поесть (прежде всего мороженого!), называет себя «резиновым мячиком», а после хрущевского доклада — «резиновой ракетой», любит посетовать, но обычно весел. Как и у Анны, хотя и по-другому, у него чувствуется глубокий душевный надлом.

Штритматтер иногда возвращался к проблеме современного лицемерия, масок, какие мы все носим. У него это, конечно, проблема. В будничной жизни он прикидывается более сильным, чем есть и может быть на самом деле. Что ни говори, когда война кончилась, ему было 33 года — какой уж там антифашизм. Потому-то рядом с таким человеком, как Готше, он не может не иметь комплексов и действительно их имеет. В Киеве, когда Штр., произнося в Союзе писателей тост, намекнул, какие противоречивые чувства испытываем мы, немцы, путешествуя по Советскому Союзу, Готше заплакал. Он тоже носит маску.

Криста Вольф. Об Отто Готше (2010)

Не могу забыть, как за изобильным столом в советском колхозе, который устроил пир в честь делегации ГДР, среди велеречивых тостов за всеобщее здравие, счастье и благополучие снова и снова, без малейшей тени обвинения, рассказывали о сыне-партизане, расстрелянном немцами, о брате, погибшем на войне, о семье соседей, полностью истребленной. И как тогда руководитель вашей делегации, старый коммунист, воспитавший в себе несгибаемую стойкость в классовых боях двадцатых годов и доказавший ее в тюрьме и в подполье, а теперь ставший высокопоставленным, непримиримо узколобым функционером, — как этот человек едва не разрыдался, когда хотел ответить на тосты русских.

И эта же сцена впоследствии заставила тебя терпеть его гнев и враждебность, хотя следовало бы принципиально и резко ему возразить. Мелкобуржуазное происхождение все-таки неистребимо, кричал он, вместо классовой позиции у тебя гуманистические сантименты, ты горько его разочаровала и никаких поблажек не жди. А ты думала о том времени, когда он участвовал в Сопротивлении, и о собственном времени в гитлерюгенде и очень-очень хотела, чтобы противоположность взглядов на то, что «нам» полезно, не развела вас окончательно. Ты стояла перед ним в огромном служебном кабинете, куда прошла по пропуску, после тщательной проверки вооруженной охраной, чьи бдительные глаза проводили тебя до самого лифта; на верхнем этаже тебя поджидали их опять-таки вооруженные коллеги, чтобы еще раз сличить твое удостоверение с пропуском, а затем указать дорогу через бесконечные безлюдные коридоры и вереницу приемных, которые, разумеется, произвели на тебя впечатление. Зачем им это нужно, откуда этот страх, эта паранойя перед народом, который так перед ними виноват и меньшей частью которого они теперь управляют. Должны управлять, при том что никак не могут освободиться от недоверия к этому народу. Холодный страх охватил тебя, и ты еще не умела облечь его в слова. Речь тогда шла о написанной тобою книге, публикации которой высокопоставленный товарищ хотел воспрепятствовать, поскольку считал ее вредной. Ты считала эту книгу важной, это был тест — можешь ты жить в этой стране дальше или нет. И он на тебя наорал. Вы оба знали, что дело тут в принципе. Затем тон у него стал холодным, а у тебя — отчаянным. Расстались вы непримиренными, и на долгом пути к двери ты потеряла сознание, а когда очнулась, увидела над собой

его испуганное лицо.

Из книги «Город Ангелов, или The Overcoat of Dr. Freud»

Герхард Вольф о второй поездке

Как редактор журнала «Нойе дойче литератур» Криста Вольф в составе официальной делегации Союза писателей ГДР присутствовала на III съезде писателей СССР; в соответствии с поручением она опубликовала официальный отчет о поездке в приложении к газете «Нойес Дойчланд» от 20 июня 1959 года. В делегацию входил Отто Готше, секретарь Вальтера Ульбрихта в Государственном совете и автор таких верных партийной линии романов, как «Между ночью и утром» (1959), «Криворожское знамя» (1960); о нем Криста Вольф пишет в книге «Город Ангелов, или The Overcoat of Dr. Freud». Анна Зегерс и Эрвин Штритматтер поддерживали с Кристой Вольф дружеские отношения, к ним присоединился и Вилли Бредель, и все они участвовали в заседаниях съезда. Из Федеративной Республики приехал Карллюдвиг Опиц (1914–1997), известный своим опубликованным и в ГДР неприкрашенным повествованием о Второй мировой войне «Казарма» (1954). Переводчицей Кристы Вольф была Лидия Герасимова, которая впоследствии сопровождала нас и с которой мы подружились.

Немецкие писатели встречались с грузинским романистом Иосифом Нонешвили (1918–1980) и русскими писателями Вадимом Собко (1912–1981) и Александром Корнейчуком (1905–1972).

С Владимиром Стеженским Криста Вольф продолжила переписку и через год после поездки послала ему рукопись своей «Московской новеллы».

Повестка дня съезда писателей

Для сведения

1. Открытие III Всесоюзного съезда писателей СССР состоится в понедельник 18 мая 1959 года в 11 часов утра в Большом Кремлевском дворце.

Дальнейшие заседания съезда пройдут в Колонном зале Дома союзов, а именно:

утренние заседания — с 10 до 14 часов,

вечерние заседания — с 17 до 21 часа.

2. Выступления делегатов съезда будут синхронно переводиться на русский, китайский, английский, французский и немецкий языки.

У входа в Колонный зал гости получат аппараты для прослушивания соответствующих переводов. Просьба возвращать их на выходе из Дома союзов.

3. Для гостей съезда предусмотрены экскурсии по памятным местам Москвы, а также посещения театров, музеев и т. д. Пожалуйста, сообщите нам свои пожелания.

4. По окончании съезда для гостей предусмотрены трехдневные поездки в Ленинград, Киев или Сталинград. Пожалуйста, своевременно сообщите, какой из этих трех городов Вы хотели бы посетить.

5. Все гости съезда будут размещены в гостинице «Москва». На двенадцать дней (включая дни съезда) Союз писателей берет на себя все расходы на проживание и питание: завтрак, обед и ужин в ресторане (за исключением алкогольных напитков и дополнительных издержек). Ресторан находится на третьем этаже гостиницы «Москва». Вы получите специальные талоны на питание.

6. Чтобы своевременно заказать авиа- и железнодорожные билеты, просим в ближайшее время сообщить дату возвращения, а также желаемый маршрут, пункт назначения и вид транспорта. Норма бесплатного провоза багажа самолетом составляет 20 кг.

7. Обмен денег производится в кассах гостиниц «Метрополь» и «Националь».

8. Просим Вас заполнить прилагаемую анкету и передать ее в секретариат съезда.

Секретариат съезда
Москва

Входной билет на III Всесоюзный съезд писателей СССР на имя Кристы Вольф

Криста Вольф — Владимиру Стеженскому, 3 сентября 1960 г.

Халле, 3.9.60

Дорогой Владимир,

ты наверняка уже и думать перестал, что получишь от меня письмо, которое так запоздало. Но твое последнее письмо опять было довольно скучным, согласись, и мой ответ грозил быть не лучше. Поэтому я решила подождать, когда смогу приложить что-нибудь, что, надеюсь, тебе не наскучит, хотя совершенно не знаю, понравится ли тебе мое приложение, нет ли, а может, то и другое сразу. Я правда не знаю, и, прочитав рассказ, ты поверишь, что говорю я это не просто так. Сейчас вот сижу и размышляю, что бы еще сказать в разъяснение этой маленькой написанной мною истории, чтобы ты понял ее правильно, а мне очень этого хочется. Но в голову ничего не приходит. И как критик я всегда презирала авторов, которые полагали необходимым комментировать свои рассказы. Итак, сейчас я впервые сама испытываю неприятное ощущение, что мне остается лишь уповать на то, что все, о чем я хотела сказать, содержится в рассказе или хотя бы между его строк и будет понято без всякого разъяснения.

Слишком долгое предисловие, в котором чувствуется замешательство… Чем ты теперь занимаешься? Вероятно, как раз вернулся из отпуска, глядишь, даже ездил на Черное море, как и мы. Мы были в Болгарии, чтобы вознаградить себя за на сей раз весьма прохладное и дождливое лето, копили солнце, пока не перебрали и не начали высматривать на небе облака, купались и загорели дочерна. В память о голых болгарских горах сейчас у нас на балконе шныряет черепашка по имени Нурка, которую вся семья нежно любит, хотя она тем не менее ничего не ест и, похоже, не одобряет наш климат. Наверно, она умрет, и все мы очень огорчимся, особенно дети, которые каждый день купают ее и пытаются говорить с ней по-болгарски: им известно только, что, когда говоришь «нет», надо кивать, а в знак согласия, наоборот, мотать головой. Кстати, это в самом деле здорово сбивает с толку, и взрослых тоже!

Впрочем, по-русски наша старшая скоро будет говорить лучше, чем ее нерадивая мать. Она теперь учится в спецшколе, где русский изучают уже с третьего класса, и целыми днями терзает нас своими новейшими познаниями: «Что это? Это стол». И так далее.

Наверно, ты заметил, что настроение у меня хорошее, и не

только сегодня вечером, когда я, кстати сказать, выпила немножко вина, а вообще, даже в принципе, я пью, когда у меня дурное настроение. Сейчас мне кажется, я знаю, как использовать свое время, и по-настоящему недовольна бываю, только думая о том, как мало действую по собственному разумению. Пожалуй, начну вскоре новую историю и, если выйдет по-моему, больше не стану так обременять других авторов своими критическими статьями.

Тебя как критика это обижает? Пожалуйста, не надо! Напиши мне, что успел сделать за минувшее время, и не думай, что я так подолгу молчу из-за отсутствия интереса. Мне кажется, на сей раз отвечу быстрее. Прежде всего хотелось бы знать, получили ли вы уже новую квартиру — наудачу отправлю это письмо на старый адрес, — здоровы ли и бодры ли вы все. Однажды побывав в Москве, все время по ней скучаешь, особенно весной. Я тем временем несколько дней провела в Праге, еще мы мельком повидали Софию, оба эти города мне очень понравились, но Москва-то больше чем «понравилась», и думаю, едва ли какой-то другой город скоро отнимет у нее пальму первенства. Мой муж — закоренелый поклонник Праги, но ведь он пока не знает Москвы. Возможно, на будущий год нам удастся приехать.

А до тех пор надеюсь услышать о тебе.

Сердечный привет тебе, твоей жене и дочке.

[Твоя Криста]

Владимир Стеженский — Кристе Вольф, 14 сентября 1960 г.

[4]

Москва, 14.9.60

Дорогая Криста,

понимаешь ли ты, какую замечательную вещь ты написала? Давно я не читал ничего подобного. Проглотил я ее всю залпом, а потом перечитал снова, не спеша, смакуя каждую фразу. Молодец! Нет ничего лишнего, ни капли воды, все словно высечено из одного куска гранита. Такая сдержанная, даже строгая манера делает особенно волнующим и трогательным содержание. Это не всегда удается даже опытным писателям. Однако хватит, а то боюсь тебя перехвалить. Как бывший критик ты знаешь, как опасны для молодых авторов чрезмерные похвалы. И потом я ведь не могу быть в данном случае объективным. Если бы это написал кто другой и о другом, я может быть был бы более строгим. Так что не очень зазнавайся и не задирай нос. И все же еще раз повторю: молодец! Пиши, пиши и пиши. Забудь пока о критике, пусть писатели спят спокойно. Если нужно, я их сам покритикую. Чтобы не забыть, два малюсеньких замечания: едва ли твои герои могли в июне есть в Киеве дыню, да еще перезревшую. Даже в Армении они поспевают много позднее. И бараниной на вертеле их едва ли угощали в украинском колхозе. Конечно, и в немецком ЛПГ могут сварить борщ, но это, как говорится, не типично.

Очень хочется перевести твой рассказ на русский язык. Постараюсь это сделать. Отпуск мой уже кончился. Мы всей семьей были на даче, погода стояла премерзкая, сплошные дожди. Но все равно было хорошо. Несмотря ни на что я купался, ходил в лес за грибами, которых в этом году было великое множество, и наслаждался бездельем. Последнее иногда тоже бывает полезным. За время отпуска накопилось много работы, сейчас сижу и разгребаю всю эту груду. Написал несколько рецензий и статью ко дню рождения Анны. В ближайшее время предстоит написать главу для истории немецкой литературы, которую выпускает наш институт мировой литературы. Таковы пока мои планы.

Когда ты теперь к нам приедешь? Очень, очень хотел бы тебя видеть. Ты хоть пиши, только чаще, чем раз в год. И не обзывай мои письма всякими нехорошими словами. Просто ты не умеешь их читать. Бери прим[ер] со своей дочки и изучай русский язык!

Новый дом наш пока не готов. Еще год придется подождать. Так что пиши по старому адресу.

Желаю тебе самого хорошего. Привет от всех нас.
С сердечным приветом,
твой Володя

Москва, 14.9.60

Дорогая Криста,

понимаешь ли ты,какую замечательную вещь ты написала? Давно я не читал ничего подобного.Проглотил я ее всю залпом,а потом перечитал снова,не спеша,смакуя каждую фразу.Молодец!Нет ничего лишнего, ни капли воды,все словно высечено из одного куска гранита.Такая сдержанная,даже строгая манера делает особенно волнующим и трогательным содержание.Это не всегда удается даже опытным писателям.Однако,хватит,а то боюсь тебя перехвалить.Как бывший критик ты знаешь,как опасны для молодых авторов чрезмерные похвалы.И потом я ведь не могу быть в данном случае объективным.Если бы это написал кто другой и о другом,я может быть был бы более строгим.Так что не очень зазнавайся и не задирай нос.И все же еще раз повторю:молодец!Пиши,пиши и пиши.Забудь пока о критике,пусть писатели спят спокойно.Если нужно,я их сам покритикую.Чтобы не забыть,два малюсеньких замечания:едва ли твои герои могли в июне есть в Киеве дыню,да еще перезревшую.Даже в Армении они поспевают много позднее.И бараниной на вертеле едва ли их угощали в украинском колхозе.Конечно,и в немецком ЛПГ могут сварить борщ,но это,как говорится,не типично.

Очень хочется перевести твой рассказ на русский язык.Постараюсь это сделать.

Отпуск мой уже кончился.Мы всей семьей были на даче,погода стояла премерзкая,сплошные дожди.Но все равно было хорошо.Несмотря ни на что я купался в канале,ходил в лес за грибами,которых в этом году было великое множество,и наслаждался бездельем.Последнее иногда тоже бывает полезным.За время отпуска накопилось много работы,сейчас сижу и разгребаю всю эту груду.Написал несколько рецензий и статью ко дню рождения Анны.В ближайшее время предстоит написать главу для истории немецкой литературы,которую выпускает наш институт мировой литературы.Таковы пока мои планы.

Когда ты теперь к нам приедешь? Очень,очень хотел бы тебя видеть.Ты хоть пиши,только чаще,чем раз в год.И не обзывай мои письма

Письмо Владимира Стеженского Кристе Вольф от 14 сентября 1960 г.

Третья поездка. 1963 г. В Москву с Бригиттой Райман, 7–16 октября 1963 г.

* * *

12.10

Москва, в третий раз. Каждый раз осмысливать все труднее. На этот раз больше знакомства с жизнью народа, потому что живем мы в транзитной гостинице «Киевская», которую здесь никто почти и не знает. Оглушительные арии по утрам и веселье до глубокой ночи. Новый опыт после международных гостиниц прошлых лет. Вид из окна (2-й этаж) прямо на очень оживленную улицу поблизости от Киевского вокзала. Мимо постоянно проходят разнообразные типы.

Первые дни всерьез боролась с ощущением чуждости, в том числе и по отношению к людям, которых уже хорошо знала (Владимир). Вероятно, всему виной процесс развития, в каком я нахожусь: я стала не просто критичной, но почти недоверчивой к видимости.

Сегодня ночью, лежа без сна (опять гулянка!), думала о том, что надо бы написать: город, заросший травой. Легенда о городе, который мало-помалу зарастает травой, оттого что люди внутренне дичают, обрастают мхом. Весьма нередкий процесс ныне, я говорю об этом со Ст. [Владимиром Стеженским], он заметил, что я сама этого боюсь (никуда ведь не денешься!), и уверенно сказал, что я никогда не изменюсь. Благочестивый образ, какой он составил обо мне. «Свет далекой звезды».

Сегодня ночью мне привиделась — наполовину во сне, наполовину наяву — маленькая человеческая фигурка перед огромным двойным рядом зеркал. В первом зеркале крупно отражался мужчина — начальник, — которого маленький боится, бежит к другим зеркалам, потом мчится дальше и дальше, вдоль всего ряда, начальник становится все меньше, под конец этаким мальчиком-с-пальчик. Но не исчезает. Чаплин.

Смогу ли я еще когда-нибудь писать при моей неповоротливости?

Впервые: осень в Москве. Новые городские кварталы (возведены быстро, инфраструктура большей частью отсутствует). Уход за домами, похоже, проблема.

Несколько редакций. Различные степени дружелюбия и официальности. При этом многое непроницаемо. Разговоры остаются поверхностными, будто все всегда было и будет в полном порядке. Нечистая совесть? Страх? Ст. считает: они сами не знают, что происходит.

21.10

Что, собственно, более всего связывает людей друг с другом? Что такое любовь? Если один знает другого, как никто. Если только одному-единственному показываешь себя целиком, без страха, что тебя могут понять превратно, могут оттолкнуть. Полнейшее доверие.

Его с открытыми глазами не нарушишь, пусть даже другой считает, что имеет на него неменьшее право. Хочется раздвоиться, быть одновременно и здесь, и там, быть всем для одного и для другого. Но это невозможно, а значит, честнее вовсе не пытаться, не делать последний шаг, не уступать мгновению. «Ты ненормально нравственна». У меня слезы навернулись на глаза. Мужчины всегда только требуют, Герд — большое исключение. В Германии, насколько я знаю немецких мужчин, он для меня единственный.

За последнее время я дважды писала в статьях фразу: «Не всякая печаль неплодотворна, не всякий „восторг“ плодотворен». Очень сильно ощущаю это сейчас, когда главное мое настроение — плодотворная печаль. Или все же серьезно. Почему нужно отказаться от человека, на чью любовь не можешь ответить? «Свет далекой звезды» — долго ли он сможет этим довольствоваться? «Достаточно, что ты есть…» — не просто формула, какой хватает, если можно видеться каждый день?

Последние два дня в Москве: холодно, дождливо, пасмурно — уютно. Старомодная лампа в голом гостиничном номере. Последние два часа с красной брусничной настойкой из стаканов для воды. Струя из душа на вентиляционную решетку («прослушку»), обещание сегодня не грустить, которое было (почти) соблюдено. Последняя поездка в автомобиле по Москве, на переднем сиденье секретарь из посольства, ни к чему не обязывающий псевдоразговор, последний раз: «Ты невозможная…»

Часто я сквозь все это видела лицо Герда.

По-прежнему много говорят о Сталине, не так-то легко вытравить его из подсознания. О его жене, которую он якобы то ли убил, то ли все же довел до самоубийства (письмо Пастернака до последнего у него на столе: «Накануне глубоко и упорно думал о Вас; как художник — впервые… точно был рядом, жил и видел!»[5] Сталин как мистик). Его дочь Светлана, чьих возлюбленных он ссылал в Сибирь, несчастная женщина, теперь взяла фамилию своей матери. Актер, лучший исполнитель роли Сталина, которого на банкете попросили показать свое мастерство, в мертвой тишине голосом Сталина: «Я не смею!» У

Богатырева, 5 лет просидевшего в лагере (как «террорист»), экземпляр пастернаковского перевода «Фауста», с посвящением поэта и штемпелем гигантского лагеря Воркута.

Ст. часами рассказывает о своих женщинах, в том числе немках. Спрашивает: «Как тебе тогда удалось спрятаться от наших?» Вообще: судорожная напряженность в отношениях между немцами и русскими начинает ослабевать. Говорят куда более открыто. Симпатии и антипатии одни и те же.

Боюсь, внесла свою лепту также и параллель Сталин — Гитлер.

Многие браки, кажется, неудачны: Стеженский, Саша, Лидия… Ст. рассказывает истории о двух известных ему счастливых браках; тот и другой были заключены после того, как объявленный погибшим на войне вернулся домой, нашел невесту замужем, а когда она развелась, женился на ней. Ст. сам пережил сходную историю, разыскал свою девушку в лагере, снова влюбился в нее, а она в него, — но жениться не смог. Не сумел забыть, что, когда он был на фронте, она предала его. Нехватка великодушия? В войну он дал обет обходиться без женщин, из суеверия…

На сей раз главное впечатление — многослойность всего того, что связано с людьми. Почти невозможно охватить все это литературно. Ерусалимский: «Сталину нужен Шекспир».

Только что по телевидению (западному) польский документальный фильм: «Альбом Фляйшера». Найденные польским солдатом фотографии военных лет, сделанные немецким офицером, удручающе неподдельные и мещанские. Подверстаны в передачу под девизом: «Можно ли вновь гордиться Германией?»

Ст. рассказывал мне, как перед войной все время думал, что со дня на день арестуют его отца, который держал наготове вещмешок с бельем и хлебом, и я спросила: «Но за что вы воевали?» — «За Россию! — быстро ответил он. — Я никогда не воевал за Сталина». Среди интеллигенции это, говорят, не было исключением. Они полностью сознавали трагизм ситуации.

Однажды вечером за нашим столом: Юрий Москаленко, представившийся как старый друг К. [Конрада] Вольфа. Он поверить не мог в мое близкое знакомство с К.В. Рассказал, что мальчишкой его угнали в Германию. Он сбежал, якобы шпионил для своих, был схвачен в Арнштадте и приговорен к смерти. Тогда-то и поседел. Вышел на свободу (вероятно, благодаря наступлению Красной армии), с тех пор и знаком с К.В. Теперь он кинооператор. В тот вечер он потащил нас на Красную площадь. Очень негативно отзывался о Сталине, с восторгом — о Хрущеве.

(Тот, мол, когда-нибудь будет лежать в Мавзолее рядом с Лениным. Ст.: «Но ведь Мавзолей не должен становиться перевалочным пунктом!»)

Немцы за границей — снова и снова вызывают досаду. Я уж не говорю об этаком [Рудольфе] Хагельштанге, который после трехнедельного пребывания в стране, не зная ее языка, осмеливается выпустить трехсотстраничную книгу, пышущую высокомерием («Куклы в кукле»); но ведь и наши тоже. Посольство: честные, порядочные, униформированные. Иерархия. В присутствии начальства вопросов не задают.

Некий товарищ Гошюц, сопровождавший нас на дружескую встречу на коксогазовый завод и работающий в СЭВе [Совет экономической взаимопомощи]: снятый с должности бывший министр стал доступен для общения, только когда сообразил, кто я. Посетовал, что советское телевидение показывает так много фильмов о войне («в конце концов мы тоже немцы»). Поневоле вынужден был говорить перед собравшимися по-русски, хотя владеет языком не очень хорошо. Или в самолете: грубость сов. контролеров, когда немецкие пассажиры могли думать, что их не понимают.

Вообще, мы опять весьма претендуем на роль всезнаек. («Вы здорово обнаглели».) Нелюбовь к нам в соц. зарубежье растет. Пражане сейчас полемизируют по поводу статьи Куреллы о Кафке, которую явно считают вмешательством в свои внутренние дела.

Я во всем делаю ставку на молодежь, у нас и повсюду.

Проблема — выстоять и не закоснеть. Ст. любит меня: «Ты такая открытая. Я твердо верю, что ты не сможешь стать как все, даже если захочешь». Это привело меня чуть ли не в отчаяние, ведь как раз в минувшем году я совершенно отчетливо ощутила опасность, что все-таки становлюсь такой, шаг за шагом отступаю, что разочаровываюсь в себе самой, в своих благих побуждениях, в своих лучших намерениях («это самое скверное, я знаю»). Я сказала ему все это, но он только твердил: трудно, однако я выстою. Мол, так или иначе все не настолько трудно, как для писателя десять лет назад. В самом деле — никакого сравнения. Он знает наше «руководство», любит, уважает и презирает тех же людей, что и я. Методы сходны, что здесь, что там: от прямой провокации до подспудной клеветы, негласного отпирательства «задним числом». Хрущеву тоже нужен свой Шекспир…

Мне пришел в голову замысел повести (по ночам я спала плохо, особенно с того вечера у Стеженских): «Город, заросший травой». Человек, живущий в дичающем, зарастающем городе,

отчаянно сопротивляется, не желает становиться дикой степью. И другой помогает ему освободиться. (Легенда? Что-то реальное?) Действительно конфликт сегодняшнего дня, только, конечно, его нельзя представлять экзальтированным и изолированным. (Ст. утверждает, что часто думает обо мне, когда надо принимать решения: что бы сказала или сделала я? Так хорошо, когда кто-то есть рядом.)

Действительно, я и на сей раз, как всегда в поездках за границу, снова отдалилась от наших собственных дел. И такая дистанция была мне крайне необходима.

Ст. дал мне записки А.З. [Анны Зегерс] 1951 года.

Бригитта Райман. Особь статья. Делит людей на «хороших» и «плохих». Я приложила немало усилий, чтобы внушить ей сомнение в подобном антиисторичном подходе. Она приехала с представлением о Москве, взятым как бы из иллюстрированной книжки (все люди здесь помогают друг другу, молодежь постоянно читает стихи, крестьяне пляшут на вокзале трепака и т. д.). И многое ее здорово разочаровывало, пока… не появились поклонники. Прежде всего пылкий грузин Эскаладзе, прощание с которым наверняка было бурно-отчаянным. Ни капли самообладания. Огонь и пламень — а через пять минут: пепел. Она всегда будет писать только о себе: большой изъян.

Все в Москве говорят мне, что я похудела (Ст.: «Не так уж убедительно!») и помолодела. А я-то как раз чувствовала себя постаревшей! Четыре года назад была еще ребенком.

Трудно объяснить ему то, что я чувствовала совершенно определенно (как основополагающее чувство, которое на часы или дни конечно же могли заслонить иные ощущения): что ничего нельзя повторить, что это будет обманом и что я на это неспособна. Вероятно, ему тогда не хватило смелости быть самим собой, не знаю. Теперь уже поздно. Я мучила его, сама того не желая, и это мучило меня… Он признался, что ему грозила опасность стать «аппаратчиком». Особенно в прошлом году, когда его назначили начальником иностранного отд., чего он не выдержал.

Порой мы вели диалоги точь-в-точь как в плохих современных пьесах: «Ну что ты за человек?» — «Такой уж уродился: на прошлой неделе не выполнил план. Но теперь, обещаю тебе, я его выполню и перевыполню!» — «Только так ты можешь заслужить мою любовь…» и проч. Так плохая литература против воли становится банальной комедией, и люди сознательно идут против идеалов, которые хотят создавать.

Говорят, в Китае в знак самокритики вывешивают в окне стенгазету… Крылатое выражение: тогда я вывешу в окне

стенгазету… Я спросила, какие ошибки он совершает — слишком осторожные или слишком неосторожные. На это он ответить не смог, но обещал покаяться в следующей ошибке.

Герхард Вольф о третьей поездке

Союз писателей ГДР направил в эту поездку Кристу Вольф и Бригитту Райман. Обе писательницы при этом познакомились поближе. Так началась многолетняя дружба, о которой обе писали в своих дневниках. В 1993 году их переписка была опубликована под названием «Привет тебе и будь здорова. Дружба в письмах. 1964–1973 гг.» («Sei gegrüßt und lebe — Eine Freundschaft in Briefen 1964–1973»), откуда и взят нижеследующий отрывок из итогового письма Кристы Вольф от 5 февраля 1969 года:

«Дорогая Бригитта […] Что же сделано, к сорока годам? Господи, приукрашивать тут нечего. Почему-то наше поколение никак не справляется, ты не находишь? Конечно, иной раз ему здорово достается, но кому позднее будет до этого дело? Кому будет дело до нас? Рискованная мысль.

Помнишь, как в Москве ты пришла в ужас, когда в сыром вокзальном вестибюле не нашлось охотников вытащить пьяного из лужи? И тогда это сделала ты — со своим Эскаладзе? И тебя крайне разочаровали новые люди, которых ты представляла себе иначе? А я смотрела на тебя с чувством превосходства, потому что уже немного их знала? Помнишь голый номер в „Киевской“ и сражения за утренний душ? Володя Стеженский, в ту пору влюбленный в меня, любит меня и сейчас, только вот пьет теперь очень много и говорит, что надо бы иметь вторую жизнь, в которой реализуешь все, о чем в первой только мечтаешь. Тогда бы, говорит он, он меня ждал. Но не я его, так-то вот.

На этом письмо кончается. Привет „мсье К.“ и твоему городку, который мы скоро приедем посмотреть.

Твоя Криста».

Знаменательной вехой в этой московской поездке стала встреча с Константином (Костей) Богатыревым (р. 1925), переводчиком и знатоком русской и немецкой поэзии, который в 1976 году был убит «неизвестными». Он дружил с Борисом Пастернаком. Далее, Криста Вольф познакомилась с Николаем Буниным (1920–2003), одним из переводчиков «Расколотого неба», а также с еврейским историком профессором Аркадием Ерусалимским (1901–1965), который в 1945 году присутствовал как наблюдатель на Потсдамской конференции. Время от времени мы встречались с ним в ГДР, незадолго до его смерти действительно в Цецилиенхофе, месте проведения Потсдамской конференции. Письмом он поблагодарил Кристу Вольф за гостеприимство. Усталый почерк свидетельствует о нездоровье.

Позднее Криста Вольф выразила его жене соболезнования в связи с его кончиной.

В мае 1963 года в замке Либлице под Прагой по приглашению чехословацкого Союза писателей и под руководством германиста Эдуарда Гольдштюкера состоялась знаменитая конференция, посвященная Кафке. Этот международный форум стимулировал демократические и духовные преобразования и считается предвестником Пражской весны 1968 года. Альфред Курелла, член идеологической комиссии при Политбюро ЦК СЕПГ, в своей статье о конференции — «Весна, ласточки и Франц Кафка» в газете «Зоннтаг» (31, 1963) — занял, как и ранее, догматическую позицию.

Текст Кристы Вольф «Город, заросший травой» существует в виде чернового фрагмента.

Из дневника Бригитты Райман, 8–16 октября 1963 г.

Москва, 8.10. [19]63

[…] Машина немецкого посольства доставила нас в Москву. Принял нас друг Кристы, секретарь Союза, поужинал с нами, русские закуски: куропатки, салаты, графинчик водки, много сливочного мороженого. Гостиница «Киевская» (у Киевского вокзала), по нашим меркам, довольно-таки примитивна, душевая в подвале, дамская комната убогая — и так далее, но это ничего не значит, люди вполне симпатичные.

Ночью на Ленинских горах, на мосту через Москву-реку, на противоположном берегу — огни, огни, река темная; обернувшись, мы видели ярко освещенный Университет имени Ломоносова. Всегда можно взять такси, оно до смешного дешевое. Люди одеты очень просто, дерзну сказать — по-крестьянски, никакого сравнения с модными шмотками, какие видишь в Берлине. Временами попадаются молодые люди с модными прическами, в узких брюках; девушек в брюках я пока что не видала. […] Под потолком в гостиничном вестибюле сказочные хрустальные люстры, а некоторые станции метро похожи на греческие храмы.

Сегодня утром — в посольстве, где мы узнали программу и получили свои 100 рублей; довольно много денег, учитывая копеечные цены в меню. […] Наша прусская пунктуальность забавна, здесь спешки нет, все очень спокойно, нам приходится привыкать к московскому темпу. В Союзе и в редакциях работу начинают примерно в 11 часов, да и то необязательно. Союз занимает чудесный дом, один из бывших русских дворцов, двухэтажный, с подъездными пандусами, с белыми колоннами и полукружьем флигелей, — дом Ростовых, описанный у Толстого. В клубе [Центральный дом литераторов. — *Перев.*] есть очаровательный ресторан с резными деревянными лесенками, галереями, кабинетами и точеными деревянными колоннами, и все это выглядит как кулисы к сказке о Василисе Прекрасной. […]

Москва, 10.[10.], вечером

Только что, слегка навеселе, вернулась из ресторана нашей

гостиницы. Хотела всего-навсего выпить кофе, но здесь и на пять минут одна не останешься. Люди за моим столом, корреспонденты из Мурманска и с Кавказа, немедля завели со мной разговор, немного по-немецки, немного по-русски, и мы отлично объяснялись обрывками слов и жестами. Зовут их Саша и Алеша, мы довольно часто повторяли «на здоровье», и тогда мне, конечно, приходилось пить с ними водку (к любой трапезе на столе стоит графинчик водки), и нам было очень весело. […]

Алеше и Саше знакомы очень многие писатели ГДР. Люди читают даже в метро на эскалаторе. Таксист читает, дожидаясь пассажиров. Возле магазина стоят детские коляски (дети закутаны как в разгар зимы) — в подушках лежит книга. Вчера вечером видели на улице Горького очередь покупателей — мы ждали сенсации, а стояли за книгами, перед раскинутым на улице лотком. В театрах аншлаги.

Москва, 11.10

[…] Ночью в номер позвонил Саша, сообщил, что «любить меня», нам с Кристой от смеха даже спать расхотелось […]. И потом, ночью, в темноте, в чужом городе — рассказываешь такие вещи, о каких днем не расскажешь, а Кристе можно рассказать что угодно, ведь она определенно никому не передаст. Она посмеивается надо мной, но по-доброму: я, мол, шизофреничка и вообще ужасная особа. Думаю, мы теперь хорошо понимаем друг друга (по моей детской классификации, она из «хороших»), она очень мне нравится. […]

Сегодня в издательстве «Молодая [гвардия. — *Перев.*]», которое публикует «Вступление»[6]. Уже есть гранки. Переводчик — нервный молодой человек с симпатичным клоунским лицом. […] Его — и, разумеется, ангела-хранителя Стедженского [Стеженского] — я тоже пригласила. Завтра состоится большой банкет, потому что я получила в издательстве гонорар, наличные, прямо в руки, не знала, куда их деть. Завтра отнесу в банк: поездка в Самарканд обеспечена. […]

Москва, 13.10

[…] Георгий, красавец грузин, смуглый и стройный, покорил мое сердце. Он из Тбилиси, работает инженером в научном электроэнергетическом институте. Один из немногих элегантных мужчин, каких я видела, узкие брюки в обтяжку, небрежный

пуловер и нейлоновая куртка, которую он выменял у какого-то итальянца на свои золотые часы. […] По-немецки говорит, как я по-русски, еще помнит наизусть Гейне («Не знаю, что сталось со мною»), знает обрывки английского, и за час, примерно за школьный час, мы достигли поразительных успехов, называя все находящиеся в ресторане предметы на обоих языках и повторяя, пока не запомнили урок.

[…] Когда он сказал, что мне двадцать лет, я сперва подумала, что это просто восточный комплимент, но потом вспомнила, что Криста говорила, женщины здесь рано стареют. Кроме того, бросается в глаза, как мало тут привлекательных или в нашем понимании хорошеньких женщин. (По сравнению с другими мы обе чуть ли не красавицы.) Позднее, когда мы гуляли по улицам, я заметила на многих лицах печать усталости, замотанности, которая стирает черты. Жизнь куда тяжелее, чем у нас: по-прежнему нехватка жилья (даже такие, как Ст., годами всей семьей ютились в одной комнате), нехватка промышленных товаров, всех возможных видов комфорта и удобств; вечерами, когда люди идут с работы, в магазинах здесь столько народу, что наши в Хойе [город Хойерсверда. — *Перев.*] по сравнению с ними зияют пустотой. По-прежнему слишком много экономических трудностей, вдобавок в этом году случился неурожай, Советскому Союзу пришлось закупать в Америке сотни тысяч тонн пшеницы. […]

В Черемушках, совсем рядом с новыми домами, я видела развалюхи, каких не придумал бы даже художник с самой буйной фантазией: приземистые лачуги, собственно, груды досок, повсюду залатанные, жмущиеся к земле, крохотные грязные окошки — картины как в трущобах крупных американских городов. Криста говорит, лачуги в большинстве деревень ничуть не лучше этих жалких халуп, и, глядя на все это, понимаешь, какое поразительное достижение представляет собой такой вот новый район. В подобных обстоятельствах не до эстетизма. […] Вчера вечером здесь были все наши друзья […] Богатый стол с икрой, цыплятами, и осетриной на вертеле, и салатами, и… и… в общем, русское застолье. И, понятно, много водки. […]

Около 9 мне пришлось уйти в номер, потому что я заказала разговор с Райнсбергом (мой самолет вылетает только завтра вечером). Костя [Богатырев] пришел следом. Когда мы остались одни, рассказал о себе: при Сталине его приговорили к смерти, потом помиловали и дали 25 лет. Пять лет он отсидел в лагере, где погибло так много замечательных писателей, с тех [пор] у него нервная болезнь, из-за которой дергаются руки, а иногда и все лицо. Я с ужасом вспоминаю тот миг, когда он сказал, что у

него совсем мало времени […].

Хойерсверда, 16.10

[…] Последний вечер мы провели вместе, «тебе нужно смеяться, — сказал он, — ты такая красивая, когда смеешься», и я смеялась, ведь и поводов для этого было предостаточно: гротескные недоразумения, смешные обороты (один раз, когда хотела заказать мокко, я заказала «мускулистый кофе»), Георгий поцеловал маленькие родинки над моей правой грудью и сказал «мои прелестные точечки», потому что мы никак не могли договориться насчет перевода слова «Schönheitsflecken». […] Криста, полувесело, полуозабоченно, предостерегала, чтоб я вела себя хорошо, но я и так была настроена решительно, невзирая на лепет на звучном грузинском, […] невзирая на коленопреклонения и трогательное описание бессонных ночей […]. И невзирая на цветистые уговоры: Только трое знают об этом, Георгий, Бригитта и Бог. — Но может, и Бог возражает? — Нет, нет, этот Бог молодой, он смотрит в сторону и улыбается. […]

Криста осталась еще на два дня. На прощание я обняла ее, неожиданно для себя. Думаю, я ее полюбила. […]

Еще один вечер с Костей. Превосходное собрание писем и фотографий великих людей — Пастернака, Маяковского с Лилей, Эренбурга. […] Увидев фотографии Пастернака, я вдруг поняла, кто он был. Как удар в сердце — индейское лицо, самое красивое и отважное, какое я когда-либо видела. Я бы в него влюбилась, с первой секунды.

[…] Рассказывают странную историю (она сокращена, письмо еще существует): когда умерла жена Сталина — официально говорили о самоубийстве; москвичи клянутся, он ее убил, — Союз подготовил письмо с соболезнованиями, которое подписали 30 писателей. П. отказался, он сам написал Сталину: «…Накануне (в день смерти жены) я впервые думал о вас как о художнике… точно был рядом и все видел»[7].

Я встречала многих людей, которые при Сталине по десять лет и больше сидели в тюрьмах. Костя рассказывал ужасы про Воркуту. Грузины до сих пор любят Сталина. Я не могла поверить и спросила Георгия. Он ответил: «Сталин — грузин». Мы даже согласились, что Сталин был преступником, что он уничтожил цвет русской интеллигенции, а заканчивая разговор, Георгий очень гордо произнес: «Но он грузин».

Прощание с Москвой: дождь, холодно, темно, но стены домов

усеяны квадратами света, молодой сотрудник посольства заехал за мной, и Георгий изнывал от ревности […].

Аркадий Ерусалимский — Кристе Вольф, 26 мая 1965 г.

Москва, 26 мая 1965 г.

Дорогие друзья!

Ровно две недели назад я гостил у Вас в семье, и это был лучший день моего пребывания в Вашей стране. Как всегда, прекрасно чувствовал себя в Вашем обществе: атмосфера была приятная и остроумная, и, как я надеюсь, мы прекрасно понимали друг друга. К сожалению, я немного устал после передряг конференции, заседаний и приемов.

Между тем я прочитал в «Нойес Дойчланд», что и Вы в связи с веймарской и берлинской встречами[8] очень заняты с нашими и с незнакомыми австралийцами. Было ли по-настоящему интересно? У меня было и есть еще много вопросов, которые хотелось бы Вам задать, но наш последний разговор в Вашей симпатичной квартире вышел настолько кратким, что я не успел их задать. Надеюсь, скоро Вы оба приедете к нам, и тогда времени у нас будет больше. Но когда Вы приедете? Жду с нетерпением. Поцелуйте Ваших милых дочек — старшую и младшую, которая хочет, чтобы ее звали только Катериной.

Напоследок хочу рассказать Вам старую, но, увы, не стареющую историю: с 18 мая лежу в больнице с воспалением легких. Самые добрые дружеские приветы.

Ваш А. Ерусалимский

Криста Вольф — г-же Ерусалимской, 3 декабря 1965 г.

3.12.65

Глубокоуважаемая госпожа Ерусалимская,

позвольте мне, хотя Вы меня почти не знаете, выразить Вам мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга. Сообщение, которое я вчера прочитала в газете, глубоко меня опечалило. Вы знаете, что вся наша семья считала Вашего мужа одним из лучших своих друзей. Письмо, которое я несколько дней назад — увы, после чересчур долгого перерыва — написала ему, уже не попадет ему в руки. Многие годы мы восхищались тем, сколько всего делает Ваш муж, ведь при его состоянии здоровья это было возможно лишь благодаря невероятной энергии. Каждый раз, когда я встречалась с ним, наш разговор был для меня важным и интересным. Надеюсь, он об этом знал. Здесь, в ГДР, у него было много друзей.

Еще раз, глубокоуважаемая госпожа Ерусалимская, примите наши сердечные соболезнования и добрые пожелания лично для Вас.

Ваша Криста Вольф

Четвертая поездка. 1966 г. Через Москву в Гагру на Черном море, 10 октября — 12 ноября 1966 г.

* * *

10 октября — 12 ноября 1966 г.

Новые московские впечатления.

Прилетели 10 октября.

Новое Шереметьево.

Билет Союза писателей помогает ускорить формальности.

Совершенно разболтанное такси, шофер — слегка диковатого вида курчавый брюнет — видимо, полагает, что такая работа не для него, а потому пальцем не шевелит насчет наших чемоданов.

Гостиница «Варшава» на Октябрьской площади. «Очень хорошая гостиница, — говорит В.Ст. [Владимир Стеженский], — современная». Впечатление холодное, из-за обилия некрасивой масляной краски. В вестибюле пробовал силы какой-то маляр. Непременный сувенирный киоск с матрешками и губной помадой. По дороге туда — уже темно — бросается в глаза, что в огромных домах-новостройках освещены почти все окна. Что город разросся еще больше.

Один из лучших московских ресторанов, меню бедноватое, блюда приготовлены плохо, жареный картофель никуда не годится, зато салаты хороши, как и мороженое. Пестрый разноцветный занавес, расписанный зелеными русалками с рыбьими хвостами, в руках у них желтые мячи и т. д. Молодая девушка с другом, держит в объятиях белую тряпичную собачку и все время с ней сюсюкает. Какую-то женщину бросает партнер, когда она принимается чересчур смело танцевать под (ужасно громкую) музыку.

В.Ст. о поездке с Анной [Зегерс] и Роди (как Роди обо всем справляется по три раза, как снова и снова пересчитывает одиннадцать багажных мест)… Должное настроение как-то не налаживается.

Следующее утро, прогулка в центр. Холод. Резкий, яркий солнечный свет. Деловой, работящий, малоуютный город. Люди одеты как после войны. На улицах множество мелких киосков и лотков. Плохонькие яблоки, груши, капуста, виноград, дыни. Порой что-нибудь причудливое за почти безлистными деревьями. Большие, гнетущие, окруженные колоннами административные здания. Улица Горького. По сравнению с прошлыми годами ассортимент получше. Обед в одном из множества новых кафе, на сей раз довольно современном, стеклянные стены, зеленые растения, вкусно: суп и курица с рисом. За нашим столом толстая женщина с мальчиком, который сосет расческу. Вид у обоих деревенский. Рядом три студентки, у одной невероятно длинные

серебряные ногти. Мало женщин, выглядящих как у нас. Броско, но довольно безвкусно подкрашенные глаза, пальто зачастую старые, дешевые. На улицах много пожилых, бедно одетых женщин. Однако и в окраинных районах магазинов больше, отчасти даже более современных. В новинку то, что улицу можно пересекать только на обозначенных переходах и что в определенных направлениях таксисты ехать отказываются.

В номере: красный телефон. Одеяла тонковаты, мы просим еще одно. После обеда долгое ожидание Бунина, я немножко простыла. На автобусе в Союз писателей. Он рассказывает о своей жене, она невропатолог. Ее любимая болезнь… что-то по-латыни, неизлечимое. Американцы тоже пока бессильны против этого недуга. В Сухуми его жена впрыснула двум десяткам обезьян пробы тканей от умерших и теперь ждет, что они заболеют… Она нашла себя в этой профессии на войне, а прежде успела побывать актрисой и кем-то еще. Стала медсестрой, а потом врачом.

Н.Б. [Николай Бунин] о последней книге Бёлля: «Настоящий Бёлль». В издательство, где выходит «Роман-газета» [печатает романы с продолжением], 970 рублей. В кабинете бухгалтера, серьезного и деловитого, вчетвером.

Потом с В.Ст. в писательский клуб — поесть раков. Полно народу. Атмосфера оживленная, непринужденная. Рождественский, Аксенов и др. — издалека. Стихи и рисунки на стенах. [xxx] Молодые люди самоуверенны, на своем месте, современны. Известная и талантливая молодая поэтесса, очки, короткие черные волосы. Первый доверительный разговор со Ст. (под влиянием польской ореховой водки) о наших обстоятельствах. «Ребята, бросьте, все переменится. Подождите годик-другой…» Снова кофе, даже вкусное вино. Наконец-то более откровенный тон.

Провожаем его до метро. Потом пятым автобусом в центр. Вверх-вниз по улице Горького, в «Арагви» мест нет, идем в ресторан «Москва». Первый седобородый швейцар. В верхнем зале дым коромыслом. В нашем еще есть свободные места. Народ немного танцует, устало, оркестр опять слишком громкий. Какой-то офицер многовато выпил, его уводят через зал. Монгол (или киргиз) за нашим столиком пьет темное кёстрицкое пиво. Скучная, натянутая атмосфера. Еда вкусная — паюсная икра, салат, харчо [густой грузинский суп], мороженое. Хорошее белое грузинское вино. г. [Герд] так долго твердит, что я не в настроении, что у меня и впрямь пропадает всякое настроение.

3-й день: дом Толстого, непонятно, до сих пор не видела. В сравнительно старом квартале с невысокими деревянными

домами. Длинный коричневый резной забор. Билеты не нужны, записываешься в книгу. Надеваешь шлепанцы. Довольно просторная столовая, на столе — старинная посуда. Спальня и гостиная, кровати, с которых будто вот только что встали Толстые. От уголка отдыха отделены ширмой. Рабочий столик Софьи Андреевны. (Где, собственно говоря, работал он?) Отапливается весь дом изразцовыми печами, практичная система. Детская, простенькие узкие кровати, игрушки — птичья клетка, лошадь-качалка, тетради. Спартанская комната гувернантки, одновременно классная комната. Маленькая кухня (настоящая кухня расположена во флигеле). Комнаты двух старших сыновей, тоже очень простые, в духе тогдашней русской интеллигенции, которая богатством не кичилась. Роскошно обставленная комната старшей дочери, что была художницей, еще одна маленькая кухня-чайная, самовар, старая шуба Толстого под целлофаном. Верхний этаж — большой зал. Кресла и диван в углу, большой стол. Здесь собирались более многочисленные компании. Одна из них — Толстой в кругу молодых почитателей — на фото возле потускневшего зеркала. Сара [Кирш], говорю я, написала бы стихи об этой фотографии, и о тусклом зеркале, и о группе молодых людей перед ним (9-й класс?).

Рядом комната Софьи Андр., весьма богатая — ковры, мягкая мебель, узорчатые драпировки. Внизу, в передней, сидит старушка в шали, пьет чай. По улице идет бородатый старик. Словно ничего не изменилось. Невозможно представить себе, говорю я, чтобы в таких домах могли вырасти эсэсовцы из Освенцима. Это не просто другой век. Это и другой дух. Можно ненавидеть крепостничество. Но его, пожалуй, не назовешь столь варварским, как системы угнетения, рожденные в нашем столетии.

Материал: ступени уничтожения личности в таких системах.

Снаружи, за домом, сейчас, осенью, прозрачный, как бы филигранный крошечный парк. Во дворе пилят, пахнет дровами.

Затем еще церквушка, зелено-красно-золотая, где, по рассказам, крестили Петра I. Первое впечатление: нам туда не попасть. Потом мы все же проскальзываем внутрь, когда выходят несколько женщин. Хромой, узколицый, черноволосый служка, похоже, рассержен, резко велит г. [Герду] снять шапку. Внутри полным ходом идет большая осенняя уборка, десяток старушек трудятся не покладая рук. Нам позволяют осмотреться. Иконы от времени так потемнели, что скоро останутся видны лишь ярко-золотые нимбы. Огромное количество латунной утвари. Одна из женщин обращается к нам: наверно, мы нерусские? Снаружи на краю крыши сидит десяток голубей и все пачкает. Женщины

вытряхивают церковные дорожки, тучи пыли. Маленький автобус лихо разворачивается на огороженной церковной территории.

Музей Пушкина закрыт; обедаем в пельменной, конечно же борщ и пельмени. Женщина на раздаче работает как скоростной автомат: цак-цак-цак, ложкой узор на картофельном пюре. На улыбку нет времени. Сара написала бы стихи: «Лишняя улыбка». (Одна из подавальщиц в маленькой закусочной нашей гостиницы тоже из принципа говорит с иностранцами неприветливым, раздраженным тоном, по-русски, да так быстро, что они беспомощно притихают.)

Когда мы уходим, возле пельменной стоит очередь. Нам там понравилось, но очень уж тесно и грубовато.

В шесть снова в клубе с В.Ст. На сей раз только кофе и пирожные. Говорим о нашей новой буржуазии, которая особенно бросилась ему в глаза в варнемюндском «Столтеро». Он не согласен, что у них есть нечто подобное, спорит. О нехватке товаров. Что невозможна оплата по чековой системе и люди вынуждены держать дома наличные.

Вечером у Ст. Ирина как раз жаловалась на новую буржуазию, которая есть и у них. Призывала к «новой революции». Была очень усталой. Во второй половине дня 3½ часа стояла за «английскими сапожками». Весь ее институтский отдел, получив сигнал тревоги, помчался в магазин. Шеф было удивился, но его утихомирили. Когда подошла Иринина очередь, ее размер уже кончился. Со злости она взяла размером меньшие. Две трети жизни тратит на такие вот вещи. Она устала. Не нужна ей женская эмансипация.

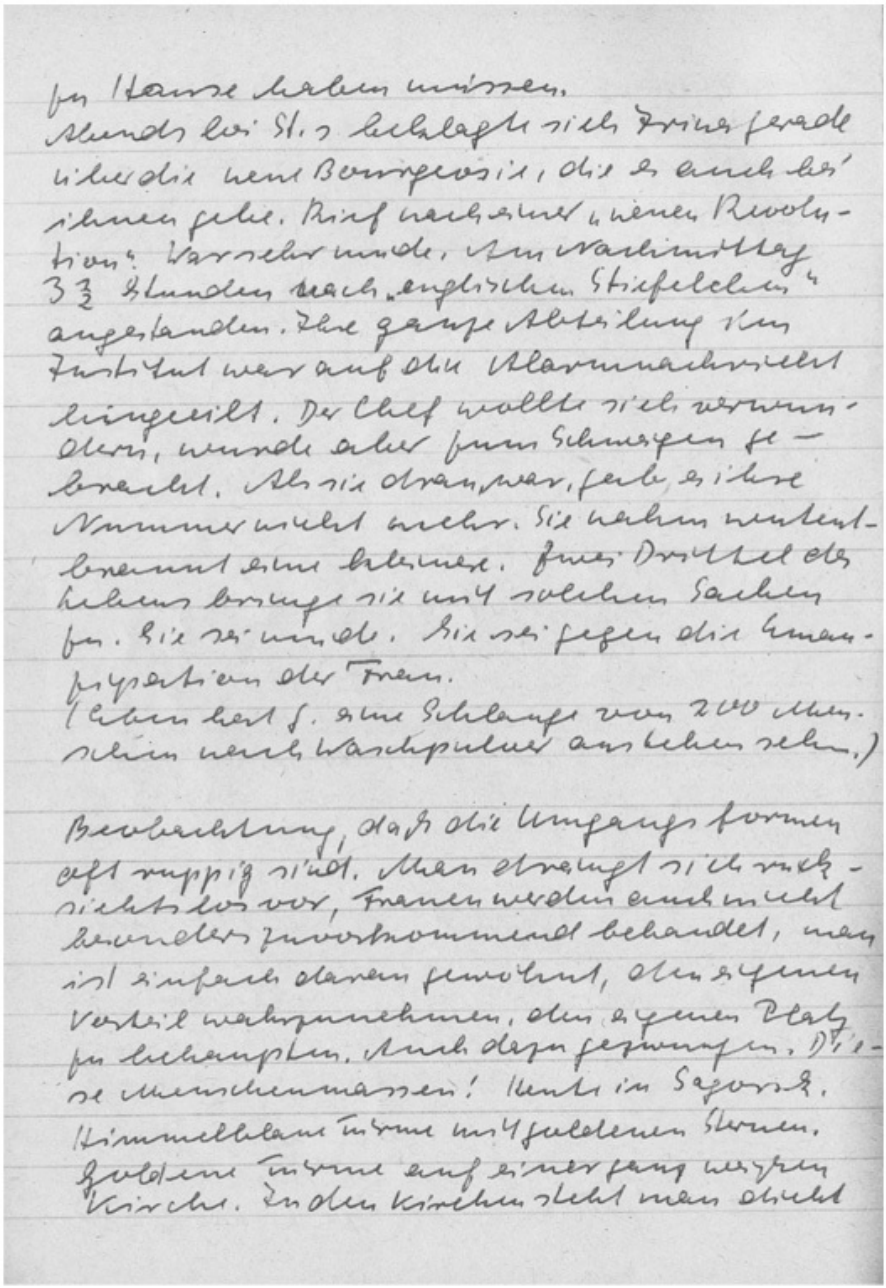
(Г. только что видел очередь из двух сотен человек за стиральным порошком.)

Наблюдение, что формы общения зачастую хамские. Люди беспардонно лезут вперед. Отношение к женщинам тоже не особенно предупредительное, просто все привыкли думать о собственной выгоде, утверждать собственное место. Да и вынуждены так поступать. Ох эти людские массы! Сегодня в Загорске. Небесно-голубые купола в золотых звездах. Золотые купола на совершенно белой церкви. В церквах во время службы люди теснятся плечом к плечу. Постоянная толкотня. Впереди священник принимает тонкие коричневатые свечи, которые продаются в притворе. Народ пишет записки с именами умерших и живых близких, за которых священники будут молиться. Ревностная набожность, оставляющая у меня впечатление тупости, почти злости. Ни тени доброты. Стекла образов тусклы от поцелуев. Люди целуют руки священникам, в том числе совсем молодым. Святая вода льется из перекладин черного креста, ее

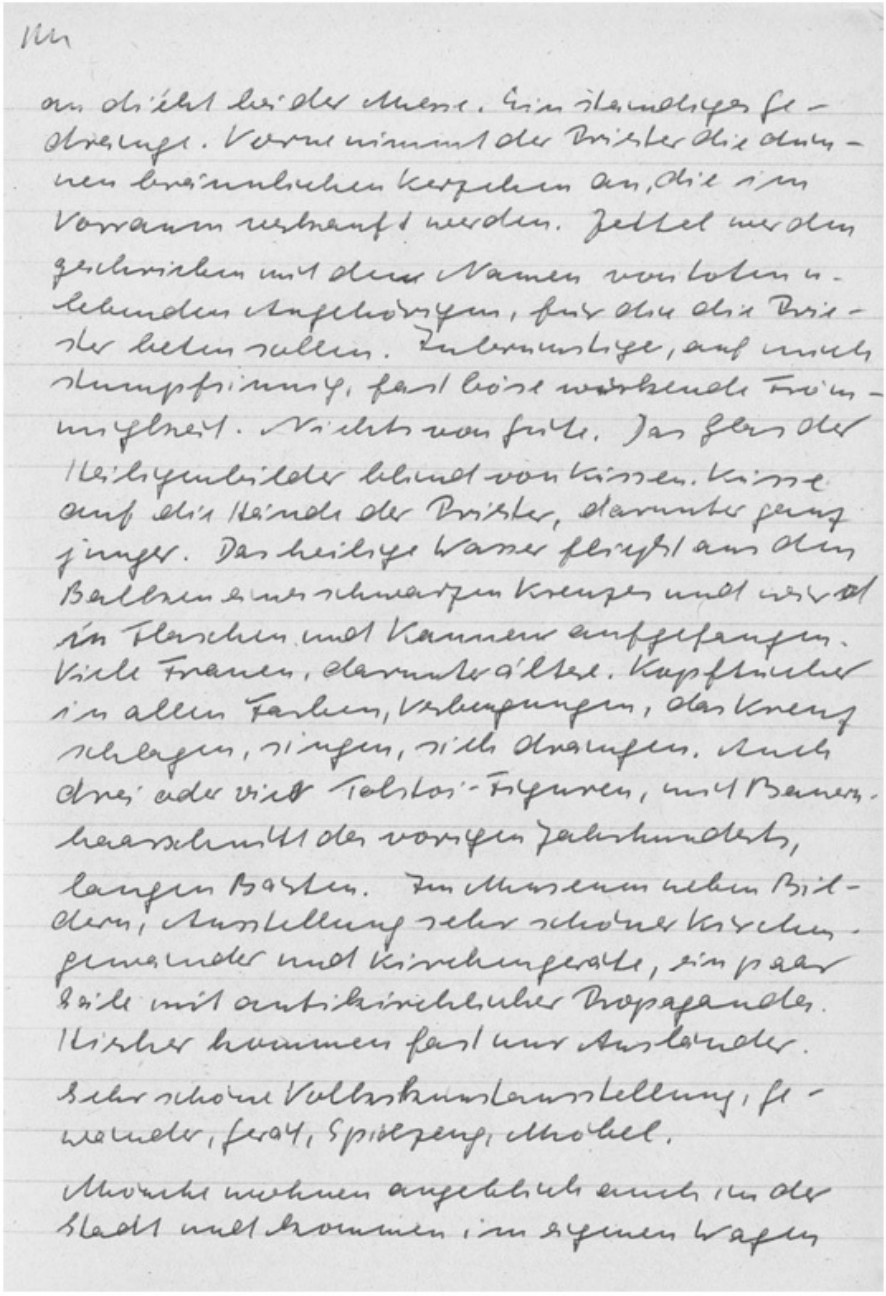
собирают в бутылки и кувшины. Много женщин, в том числе пожилых. Головные платки всех цветов, поклоны, крестные знамения, пение, толкотня. В толпе три-четыре толстовские фигуры, с крестьянской стрижкой прошлого века, с длинными бородами. В музее, наряду с картинами, выставка очень красивых церковных облачений и церковной утвари, несколько залов с атеистической пропагандой. Приходят сюда почти одни только иностранцы. Очень красивая экспозиция народного искусства, одежда, утварь, игрушки, мебель.

Монахи тоже якобы живут в городе и приезжают на «работу» на собственных автомобилях.

В 1930 году Троице-Сергиева [лавра; точнее, город Сергиев Посад. — *Перев.*] была переименована в Загорск, в честь погибшего революционера. Еще и теперь священники со всего мира приезжают учиться в Загорск. Невозможно отделаться от впечатления, что они точно знают, что делают, а верующий народ презирают и терпят как статистов для своих церемоний. Ритуалы с хорошо продуманной драматургией, поочередным, нарастающим вступлением певчих, вплоть до внушительного баса, с непокрытой головой, но с золотой лентой.



Факсимиле. Разворот дневника



Ресторан только для иностранцев. Невероятно толстая дама в черном платье, директриса, встречает посетителей. Очень энергична и осмотрительна. Кормят прилично, дешево.

Валерий из Риги. Застенчивый, чувствуется, что нерусский. Изучает турецкий язык.

Венгр, который собирается в Хантымансийск, столицу края,

где живут ханты и манси — родичи венгров, малочисленные, примитивные народы, спасенные после революции от вымирания. Этот край находится в РСФСР [Российской Советской Федеративной Социалистической Республике], между Уралом и Обью. («Мати (манси)» — слово того же корня, что и «мадьяры».)

По дороге сотни, тысячи деревянных домов, от маленьких до очень маленьких. Более или менее искусные наличники на окнах, многие дома весьма запущенны, но встречаются и красивые, хорошо сохранившиеся. Среди них в деревнях нет-нет да и втиснут новый, уродливый жилой квартал. От этих населенных пунктов так и веет скукой, унынием, иногда там стоит серебристый или белый Ленин, шагающий, указующий вперед, непременно есть и магазин, но, кроме единственной главной улицы, других, пожалуй, нет. Повсюду жгли листья, ландшафт порой был затянут дымом, поначалу местность плоская, березы, сосны, потом слегка холмистая. Узкое, довольно приличное шоссе, обгон затруднен. На обратном пути — золотисто-голубое небо, ветер.

У Образцова совершенно своя, тщательно выстроенная атмосфера. Музей кукол со всего мира. Очень симпатичная публика, много молодежи, оригинальные парочки. Хорошая реакция на происходящее на сцене. («И-го-го, гомункул из гомункулов»).

Поликлиника только для писателей. Неподалеку от писательских домов, построенных кооперативом, где м^2 стоит 200 рублей, то есть немыслимо дорого. Поскольку же писатели зарабатывают прекрасно, они покупают себе такие квартиры, значительно бо́льшие по площади, чем квартиры рядовых людей (9 м^2 на человека). Возле домов стоят их личные автомобили, иногда соседские дети пишут на них ругательства. Там живет Евтушенко, там живет Симонов, который, как говорят, очень богат.

В прошлом году Евтушенко прочитал на есенинских торжествах стихи против главы комсомола, вышел ужасный скандал, месяцем позже он один собрал во Дворце спорта 10 000 человек, огромный успех. Сияет, когда на него нападают. Написал стихи о совет. человеке, который был у итальянских партизан, а потом попал здесь в лагерь[9]. Что сказать мне другу-партизану? Правду сказать не могу, но не могу и солгать… Затем: о трех женщинах из Иванова, города текстильщиков, где на десять женщин приходится один мужчина.

Новелла Матвеева, «самый лиричный лирик».

Художник Петров-Водкин, до сих пор запрещенный, теперь выставлен в Третьяковской галерее. Интересно, современно.

Отца Ирины в 1937 году арестовали, он не вернулся. Был функционером, партсекретарем на «Красном пролетарии» [«Красный пролетарий» — крупный станкостроительный завод в СССР], «старая школа».

В «Пекине», когда выступает певица, приглушают свет. Музыка ужасно громкая. Танцы скромные. Но девушек охотно прижимают покрепче. Бунин: «Лицемер в каждом из нас». У Кёппена и Бёлля «эротические» места сокращают.

Западногерманский студент, который собирается преподавать немецкий язык в Принстонском университете, у его отца там связи. Как руководитель поездки он по нескольку раз в год приезжает сюда с западногерм. туристами. Говорит, что шоу со Шпеером и Ширахом не стоит принимать слишком всерьез. Точно знает, какие старинные церкви в Кремле при Сталине снесли. Рост 1,96, усики, очки.

Ст-ие восторженно рассказывают о неделе блинчиков в конце февраля [по-видимому, имеется в виду Масленица. — *Перев.*]: все едят эти блинчики, пьют водку, встречаются с друзьями, на улице тоже продают блинчики. … Нам тоже надо их отведать. Ирина, отстояв 3½ часа за «английскими сапожками», получает пару меньшего размера, но все равно покупает, к счастью, в институте удастся поменять. За сапожками сбежался весь институт.

Когда в Москве открывали магазин ГДР, был выставлен кордон из конной полиции. С детскими вещами, как говорят, обстоит прескверно.

Мука: 3 раза в год 1 кг на человека.

Домработница у Ст. из деревни, учится в Москве в торговом техникуме. Местом в общежитии не пользуется, живет и работает у Ст., получает в дополнение к 20 рублям стипендии еще 20 рублей. Позднее выйдет замуж за уважаемого человека, возможно за офицера, чтобы получить квартиру в Москве.

Теперь иногда совсем молодые иногородние девушки выходят за стариков, чтобы остаться в Москве, а потом разводятся. Теперь это происходит очень быстро, в суд подавать не надо, можно и заочно.

Средний месячный заработок: 70–100 руб.

Нехватка среднего медперсонала, как и у нас.

Друзья Ст.: в основном по школе. Очевидно, некоторое недоверие к новым знакомствам.

Капица: и в то время, когда исчез с публичной арены, имел хорошие условия для работы.

Физик. Семья, очень хорошо зарабатывающая, никто им не указчик. Ездят туда-сюда между Москвой и Дубной, имеют все, очень резко критикуют. Уже не равные условия с другими

людьми.

Конторы: маленькие, тесные, очень старомодные.

«Правда»: современное здание 30-х годов. Напротив большой магазин, где, как говорят, продаются особенные товары.

В Союзе писателей картотека, в которой указаны гонорары авторов.

У Ст. и Ирины: переменчиво, в целом сдержанно. Хорошо темперировано. Недостает сердечности.

Вечерние разговоры в ресторане «Пекин» (как и повсюду, очень громкая музыка, приглушенный свет, когда выступает певица, скромные танцы, все довольно скучно и мещанисто) (я повторяюсь): Ирина иной раз чувствует себя как на пороховой бочке… Что может сделать одиночка… Ир.: Ничего… Всевластье аппаратчиков… Отличается ли нынешняя молодежь от нас… Ир.: Она считает, нет… Может ли литература что-либо сделать, чтобы человечество не погрязло в варварстве… Всеобщий скепсис по этому поводу… Клаус Фукс — сумасшедший математик, друг, носит галстук, забросив его на плечо, выходит на улицу в тапках, жертвует деньги церкви, еще в школе был верующим… Еще в 1860-м среди молодежи было такое скептическое настроение, все повторяется… Многие аполитичны… В западном обществе жить невозможно… Наше тоже не идеально…

Люди в ожидании необходимых улучшений, но мало что могут для этого сделать…

Водки при Хрущеве пьют больше, и пьяных на улицах прибавилось, потому что он запретил мелким забегаловкам торговать водкой в разлив. Вот молодые парни и покупают в магазине бутылку водки, сообща распивают ее в подворотне, быстро, не закусывая, и мигом пьянеют. В мелких забегаловках они бы непременно заели «сто грамм» бутербродом.

Добавление к Загорску: женщины, которые спокойно сидят в церковном притворе на лавке у стены, достают хлеб и запивают его, наверно, святой водой. Церковь не только святое место — она может быть и мирской. Таинство и будничная жизнь перемешиваются, что как раз и приемлемо для народа.

Здесь, в серой, сырой Москве, где все время мерзнешь, почти невозможно представить себе, что существует юг, с теплым воздухом и теплой водой… Этакая фата-моргана, каких в жизни полным-полно. Как иначе-то прожить?

Человек в гостинице, натирающий полы воском и т. д., знает три слова по-немецки, вероятно был в плену.

На эскалаторах метро. Женщины с детьми. Молодые люди, которые слева небрежным шагом сбегают вниз по эскалатору, мимо прочих людей. А.З. и остальные опасаются своего опыта… Я

понимаю. Мы тоже, по сей день.

Три часа гуляем по городу. Немыслимая усталость, болят ноги и спина. ГУМ: замечаю, как в этих толпах сама быстро становлюсь тупой и наглой… Стоять в очереди за обувью, за стиральным порошком. Кошмар. Днем ни в одном ресторане нет мест.

У ворот Кремля часовые, разговаривают посредине арки и расходятся, когда раздается зуммер. Затем всегда выезжает автомобиль. За воротами стоит третий часовой, жмет на кнопку.

Женщина в автобусе без конца что-то взволнованно говорит в стекло, в итоге плачет, утирает слезы, продолжает говорить, как бы через силу. Все время поневоле громко оправдывается перед кем-то, вероятно перед самой собой. Остальные пассажиры смотрят на нее, отводят взгляд.

Кремль: Архангельский и Благовещенский соборы, как музеи. Огромные группы местного населения.

Везде и всюду открыта только одна створка двери, так что приходится тесниться.

Наша гостиница: как голая скала в могучем прибое движения по двум магистральным улицам. Каждый вечер мы откидываем тщательно расправленные покрывала, сдвигаем кровати. Каждый день, вернувшись, обнаруживаем расправленные покрывала и отодвинутые друг от друга кровати. На письменном столе красный телефон. С потолка свисают три лампы: голубая, розовая, желтая. Красновато-охряные стены. Форточка, которую легче открыть, чем закрыть. Дополнительное одеяло с прожженной дырой.

В кино — сатирические короткометражки: «Автографы» — осквернение старинных произведений искусства накарябанными надписями (некоторых из «авторов» показывают). «Копейка» — нищие. Сколько они собирают за день, как живут, как обманывают, ступеньки в подъезде, которые не ремонтируются, пока кто-нибудь не сломает ногу… Охотничья компания использует не по назначению кареты «скорой помощи» с сиреной.

Комедия: «Тридцать первое» [возможно, речь идет о комедии г. Данелии «Тридцать три», вышедшей на экран в 1966 г. — *Перев*.]. Уход от героического культа, нормальных людей поощряют быть нормальными.

Бунин зарабатывает в месяц 150–200 рублей, его жена — 200 рублей. Вскоре, когда он получит 3000 рублей за перевод Готше, они за 5000 купят квартиру. Министры, живущие на его улице, имеют шести-семикомнатные квартиры. Туристам показывают скромную трехкомнатную квартиру Ленина.

Писатели получают за печатный лист от 250 до 400 рублей,

плюс надбавку за высокий тираж. Стихи и рассказы оплачиваются «аккордно».

Сегодня в плавучем ресторане «Москва» [на Москве-реке]: «[ххх] не работает».

Люди здесь без стеснения плюют на пол, причем едва ли не поголовно все.

Парикмахерская: мыло от бруска, мелкие бигуди, металлические заколки. Клиентки в подвале сами садятся под сушилки, потом выходят. Экономная промывка из кувшина. Все очень грязно и небрежно. Быть ухоженной здесь почти неразрешимая задача.

Фильм: «Берегись автомобиля». Комедия. Тип «идиота», чистого, доброго человека, перенесенного в настоящее время. Высмеивает новую мелкую буржуазию, спекулянтов, перекупщиков (продавец электроприборов). Множество натурных съемок в Москве. Довольно неприкрашенная картина. Лицо Смоктуновского. Трогательные заключительные кадры.

На Мосфильме тоже якобы слишком мало современного материала. Но кое-что нам назвали: «Сын коммуниста» [возможно, фильм Ю. Райзмана «Твой современник», где главным героем является сын коммуниста Василия Губанова из фильма «Коммунист». — *Перев.*], «Июльский дождь». Маленькая редакторша из сценарного отдела, которая говорила много и охотно, напуская на себя важность.

Декорации: «Арена» (многонац. цирк на оккупированной немцами территории).

Пьеса Горького. «Неуловимый» [по-видимому, имеются в виду экранизация пьесы Горького «Дачники» и фильм «Неуловимые мстители». — *Перев.*]: трактир, бандиты, молодой цыган, которого подыскали на главную роль.

[Саша] Рекемчук: не так давно совсем желторотый, а сегодня вдруг важная птица — главный редактор сценарного отдела, встает нам навстречу из-за письменного стола. Вечер в клубе кинематографистов: жена Рекемчука по национальности коми, зовут ее Луиза (Люся). После 1812 года многие пленные французы были сосланы на Крайний Север, женились там на женщинах коми и нарекали детей такими именами, как Жанна и Луиза… Мать Луизы как раз в этот день приехала с Севера, привезла ведро соленых грибов. Мать Саши Р. снимается в «Анне Карениной», в массовке, ни много ни мало за 10 руб. в день. Ирина говорит: «За 10 рублей я бы все сделала». Иногда у нее такой вид, будто она многое видит насквозь и все ей уже слегка надоело. Еще там был корреспондент «Правды» в Дамаске, Лешка, с женой Еленой. Он вместе с Сашей учился в артиллерийском

училище.

Саша рассуждает, остаться ли ему главным редактором или опять писать книги, что вообще-то как раз и надо бы… О честности в писательстве. О новом открытии русского народного характера многими писателями. Они занимаются историей и считают, что характер народа на протяжении столетий и социальных преобразований по сути своей остается одинаков. (Я понимаю это как отход от быстро меняющихся актуальных «боевых» заданий.) Об их относительной независимости от министерства. До сих пор они не остановили ни одного фильма, вопреки указаниям министерства… Хотят снять фильм о Штауфенберге, совместно со студией «ДЕФА», но должной ответной любви при этом не встречают.

Обед — в клубе кинематографистов [в Доме кино. — *Перев.*], где можно было увидеть Авдюшко, а позднее и его жену, у нее, говорят, четверо детей, и она старше его, — состоял из следующих блюд: картофель и селедка, икра, холодное мясо, томаты, маринованная капуста, отбивные котлеты в желе, запеченные грибы, осетрина (или шашлык), запеченное рагу, сбитые сливки, пирожные, кофе, чай. Плюс пять бутылок водки, коньяк, вино.

Многословные заверения в дружбе, но некоторые тосты, прежде совершенно серьезные, теперь с ироническим оттенком.

Анекдоты. А. жил в доме напротив тюрьмы. Теперь он живет напротив своего дома.

А. и Б. встречаются на улице. А. говорит: Завтра Англия играет против СССР. В футбол. Пойдешь? — Б. заглядывает в свой календарь и отказывается, назвав причину: Завтра играет Шапиро. — Через неделю они встречаются снова. А. говорит: В среду играет Ойстрах, пойдешь? Б.: В среду Шапиро играет. — Что, черт побери, ты делаешь, когда играет этот Шапиро! — Хожу к его жене.

Крестьянка в трамвае, которой не уступают место: Да-а, нету нынче интеллигенции. Ответ: Интеллигенция есть, нету свободных мест!

У Рек. [Рекемчука] наряду с симпатичными чертами появилась и склонность к зазнайству. Рассуждал о своих шансах стать президентом. О своих частых (водительских) стычках с милицией. Как его мать запоминает свой новый телефон: Г-3 — знаменитое начало, как у Брежнева, 17 — год Октябрьской революции, 71 — год после рождения Ленина.

Хрущев, говорят, недавно появился в ресторане «Прага» помолодевший, подтянутый и спортивный, вместе с Ниной. Они со всеми здоровались и даже танцевали.

Р. говорит, что плевать хотел на свои прежние книги, напишет теперь настоящую.

Дамасская пара не очень-то рвется снова за границу. Три месяца в чужой стране — это замечательно, но больше — уже кошмар. Он, Лешка, хитрец и в Дамаске общается со многими людьми, которые говорят друг про друга, что они полицейские шпики.

Сельское хозяйство: мелкое «личное хозяйство» колхозников по некоторым продуктам дает до 45 % общего ресурса. Чем больше они продают, тем меньше зарабатывают.

Свет у Кремля: октябрьский вечер, между четырьмя и пятью, от Манежной площади красные стены в легкой, пронизанной светом дымке.

22. X

Только что, когда складывала на кровати рубашку Герда, напевая при этом «На светлом Заале бережку…», я подумала, что не то уже переживала эту сцену, не то видела во сне. Но ведь такое невозможно, этот мягкий воздух, этот вид на море, мы здесь впервые. Зеленый свод балкона перед комнатой, справа — бухта Гагры, за нею еще одна, в стороне Сочи, пловцы, некоторые очень далеко в море, слева гребная лодка, в доме кто-то стучит на машинке. Солнце как раз проникает сквозь листву перед нашим балконом. Без малого два часа. Еще я позабыла две пальмы. Стволы у них волосатые, как кокосовые орехи, вдобавок колючки.

Здесь опять-таки невозможно представить себе серую, грязную Москву, которая осталась в тумане.

Почему живешь не в такой стране? — все время думала я, пока мы ехали сюда из Сочи по горной дороге, мимо деревьев с мандаринами и еще какими-то красно-желтыми плодами, мимо пиний, пальм.

Почему Черное море называется черным? Оно темно-синее, как небо. Красный флажок качается на волнах, слышно самолет.

Рахель Фарнхаген — непонятно, что я не открыла ее раньше. Ее судьба — не иметь возможности много сделать, но быть, и только быть. Ее стремление к полному раскрытию личности. По крайней мере в субъективном течении своей эпохи. Вероятно, у нас такое течение еще впереди — посредственность, царящая у нас, по большому счету невыносима, — однако наше поколение уже не сумеет полностью это использовать. Мы слишком скованны внутренне, слишком «промежуточное» поколение. Рекемчук недавно говорил то же самое.

Добавление к вечеру в компании Рекемчука: разговор идет о том, что писателя никогда не оценивают по его нравственным качествам. Горький, говорю я, г. не был великим писателем. Толстой: этот был фальшив. Только Чехов остается значим как человек.

Пишу все это, а солнце между тем быстро погружается в море. Великие идеи, которые, возникнув и оказавшись среди людей, несносно уплощаются до посредственности. Но наверно, таким образом и подготавливают возможность новых великих идей. Наверно, мы живем меж этими горами, начинаем угадывать, что навсегда останемся в долине, начинаем от этого страдать, но своими силами взлететь не можем.

Как сильно немеешь и глохнешь в стране, чей язык понимаешь плохо и плохо на нем говоришь, вот как я по-русски. Даже лица — странное наблюдение — запоминаешь хуже, чем дома. Вероятно, не умеешь здесь — дома это конечно же получается непроизвольно — соотнести их с определенной группой, слоем, образом мыслей, здесь всякий раз видишь их как бы заново, особенно мужчины похожи друг на друга.

Большие министерские дворцы в стороне Гагры. Гудение неоновых фонарей, почти заглушаемое стрекотом сверчков. Сладкое вино. Кто-то из писателей, сидя за одним столом с местными, рассуждает о литературе. Освещенные гроты.

Воздух тут мягкий, а все равно зябнешь.

Уже сопоставляя перечень имен, носители которых посещали салон Рахели, со списком, который в крайнем случае можно бы составить для нынешнего Берлина, видишь, как все еще бедна наша духовная жизнь, как несамостоятельны, как обособленны различные ветви, как все в целом посредственно и лицемерно. Если что-то возникает — значит, заговор или то, что вмиг объявляют таковым.

Вчера впервые через Кавказ пришли облака, в течение дня горы затуманились, поднялся сильный ветер. Мы уже поверили в предсказанную перемену погоды, но сегодня солнце светит ярче прежнего.

27.10

Вчера экскурсия на ферму у Черной речки, где разводят форель. Группа из одиннадцати человек, организованная нашим соседом по столу, Марком, молчаливым и холодным, он плохо относится к своей жене Золе, и она встречает его гримасами. Довольно скверные горные дороги, с множеством поворотов,

шофер Витя гудел сиплым клаксоном на каждую курицу. Хозяйство расположено среди нетронутой, чудесной природы, меж горных вершин, местами совершенно голых. Система малых и больших облицованных камнем водоемов, где выращивают мальков, а под конец резвится весьма крупная форель. Река, бурная, с ледяной водой, вытекает из скал. Возле водоемов стоят плакучие ивы и другие лиственные деревья, конечно же еще зеленые, такие растут и у нас.

Потом мы сидели на воздухе у кафе «Форель», ели свежезажаренную форель, но больше пили водку и вино, вино № 11, оно бывает двух сортов — почти белое и розовое. Тарелки с помидорами и огурцами, а также стручковым перцем, которым мы первым делом ужасно обожгли рот, особенно Ниночка, ей под тридцать, блондинка, наверно крашеная, с мощным подбородком и толстыми, мягкими ногами. Она горько расплакалась. А позднее, после вина, жутко развеселилась, глаза стали крошечными щелочками, она тряслась от смеха. Мужа у нее, похоже, нет.

Тон задавала Мария Сергеевна, юрист из Москвы, за пятьдесят, здоровенная тетка, с зычным голосом, которая по-русски и по-немецки всех нас подзадоривала. В детстве, говорит она, ей довелось читать вот такие стишки: «Гном резиновый сидел на горе резиновой, хлеб резиновый он ел, а потом и околел, нищеброд резиновый». Как выяснилось позднее, она знала и гейдельбергские студенческие песни. Беднягу Буняка она, войдя в раж, изволила назвать «беременным клопом». Золя ее утешала, в туалете, где приходилось шлепать по вонючей жиже, а она заявила: «Законный туалет», вдобавок произнесла грузинский тост в честь замечательной женщины, матери и бабушки, себя самой, ведь, даже будь она простой проституткой, ее все равно бы хвалили и пили ее здоровье.

Всяк норовил щегольнуть познаниями в немецком. «Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?» — знали все, еще несколько строчек Гейне про манжеты и речи и, конечно, «Лорелею», потом Герда, пожилая женщина с мышиными зубками, прочла стишки, какие помнила с юности, примерно такие: «Когда-то с нашей армией я в Вене очутился, у Густы некой в те поры я вкусно угостился…»

Часто смеялись, неизвестно почему, но, глядя на смеющиеся лица, каждый сам невольно начинал смеяться.

Под столом лежала большая белая собака в коричневых пятнах, как выяснилось, она подъедала не только рыбьи головы и хвосты, но вообще все кости (по мнению М.С. [Марии Сергеевны], в появлении слова «скелет» не обошлось без участия Петра

Великого, он ведь вообще во всем участвовал, звали его в ту пору минхер), потом вокруг шнырял хорошенький серый котенок, который ничуть не интересовался мышью, чья тень — с большими ушами — вдруг возникла в окне за шторой. Еще была коричневая собака поменьше, и все прекрасно друг с другом ладили.

Небо прямо над нами было густо-синее, воздух совершенно чистый и легкий, в тени свежо, на солнце жарко. В самом деле благословенная долина.

Мелкие серебристые форели, тут и там забавно плясавшие в водоемах, почти высунув голову из воды, были больные. «Dance macabre»[10], — сказала Золя, преодолевая свое обычное недовольство (о ней говорили, что ей все скучно, еда плохая, вода слишком холодная), сказала мне по-французски, что М.С. «femme magnifique», известная «advocatesse»[11] и проч. На обратном пути каштановые леса, вкусные фрукты.

У моря женщины — почти все они не захватили с собой купальные костюмы — образовали группу купальщиц. Внезапно возник этакий заговор против мужчин — три женщины без мужей, одна, Золя, недовольная своим мужем. Особая атмосфера среди женщин, купающихся особняком и нагишом. Я обрадовалась, когда издалека увидела идущего к нам Герда. Здесь же супружеская пара, которая держалась несколько в стороне от всего, муж не может ходить, а на обратном пути Саша Буняк предложил мне спеть «Лили Марлен». «Не поет», — обронил он на мой отказ.

Девяностолетний контрреволюционер Сущин (или вроде того) ковыляет по округе на нетвердых ногах, с жидкой седой бородой. После революции он, сидя на Западе, организовывал здесь белые банды, был схвачен в Югославии партизанами, передан советскому правительству, отсидел 10 или 15 лет в лагере, теперь на свободе, пишет статьи и издает их в виде сборников.

Здешние типажи: мужчина, который каждое утро обнаженный до пояса расхаживает по маленькому участку каменной набережной, по часам примерно минут тридцать, на солнце. На голове у него берет с козырьком. Спортсмен на пляже, уже не молодой, но тренированный, без конца стоит на руках, делает разные упражнения, в манере солнцепоклонника. Наш Буняк, которому до всего есть дело, ходит от одной группы к другой, встревает во все.

Довольно толстая женщина за соседним столиком, она хорошо говорит по-немецки, я пока не знаю откуда, но, вероятно, с времен войны, очень приветлива и вчера попросила меня отредактировать черновой немецкий перевод текста Мальро. Речь

там шла о какой-то английской аристократке, которая, хоть и замужем, воспылала любовью к лорду Б., даже пришла ночью к нему на свидание, а потом умоляла пощадить ее брак. Позднее терзалась глубоким отчаянием, что он так плохо ее понял и действительно пощадил. Соседка по столу сказала, что этот текст нужен ей по-немецки для «личного пользования», ради «дружеских отношений». Полагаю, за этим стоит роман с немцем.

Белокурая русская с подколотой косой, вечером во время танцев она вдруг выскакивает на середину и выдает типично русское соло.

Зеркало в нашей комнате, прямо напротив балконной двери, в котором возникает двойник балкона. В полдень мы вынуждены его закрывать, иначе становится слишком светло.

Голубая комната.

Широкий, бородатый, всегда громогласный, но, вероятно, может быть и совсем другим — мягким.

Странно: наблюдать за людьми и оценивать их почти без посредства языка.

Ниночка, оказывается, адвокат, как и Герда. Кто бы мог подумать!

Все здесь считают нас моложе и удивляются, что у нас такие большие дети.

Мария Сергеевна говорит, что лучше защищать людей, чем обвинять. Она предпочитает судей-мужчин, а не женщин. Об их бракоразводном праве, которое теперь изменено: больше не надо давать объявление в газете, и дела о разводе может решать первая инстанция, народный суд. Как и у нас, супруги, чтобы развестись, выдумывают лживые истории. Она поступила так же, а потом довольная и счастливая пошла под ручку с мужем пить кофе. Все три адвокатессы, сидя вокруг меня в купальных костюмах, на поролоновых матрасах, возмущаются законом о семье от 1944 года. Согласно ему, якобы в целях укрепления семьи, матери внебрачных детей ущемлены в правах: отцы детей не обязаны им платить. То есть женщины несут все бремя и всю ответственность за детей.

Три пальмы перед нашей маленькой «Приморской», высокие-высокие.

Уже три куриных бога и две ракушки.

Сегодня ночью мимо с грохотом проплыл кран.

Мировые новости лишь обрывками и случайно: Эрхард, видимо, уйдет, говорят за завтраком, слушали «Немецкую волну» по-русски, наверно, через усилители из Турции. Опять обсуждается обмен газетами между нами и Западной Герм. Советское правительство выразило протест против нападений на

советское посольство в Китае. Губандрина вроде бы расстреляли. Здесь в отпуске, по всей видимости, мало читают газеты и политические события не принимают так близко к сердцу, как у нас.

Вчерашние перипетии, пока мы не добыли талон, чтобы позвонить в Берлин, а в итоге разговор не состоялся ни вчера вечером, ни сегодня утром. Мы все-таки очень далеко.

(Три женщины всегда сидят на скамейке, наблюдают за бодрым спортсменом на молу.)

Г. [Герд] сегодня утром медитирует над историей Кристы. Там нет антипода. (Вряд ли это я.) Надо, мол, точнее поразмыслить о том, что у нас как раз «дух и власть» не соединились, также и в одном лице. Шли рядом, даже все больше разделялись, просто делали то, что нужно в данном случае, без великих концепций, зачастую под диктовку извне — с Востока ли, с Запада ли, — всегда возводили злободневные нужды в закон, абсолютизировали, а при этом, разумеется, попросту растрачивали революционный порыв людей, другие же все больше и больше ощущали потребность думать об этом развитии, ставить его под вопрос, по крайней мере задавать вопросы. Машина, которая начала двигаться сама по себе, в силу собственной инерции, и раздавила все, что пыталось вырваться: Апель.

Трудно показать что-либо из этого в истории Кристы, не перегрузив ее чересчур.

Вправду ли в основу марксизма заложен слишком большой упор на экономике? Не была ли попытка Хрущева «перегнать капитализм в сфере материального производства», вновь как будто бы оживившая в людях искру веры, уже совершенно пустой, безосновательной, а прежде всего ложной целью? Словно экономика — это «жизнь», словно она так много значит — несмотря на власть, какую имеет, несмотря на огромные последствия, возникающие, когда с нею не справляются.

Чайка, летящая точно по резкой грани меж морем и небом.

Иногда побережье патрулирует вертолет, жутко шумит.

Вчера говорили, что Федеративная Республика будет строить в Китае стартовые позиции для ракет, а потом и поставлять ракеты. «Если опять начнется война, — говорит Мария Сергеевна, — то на сей раз ее развяжет Китай». Похоже, таково всеобщее мнение.

Начало статьи: Все-таки не может не вызывать удивления, с какой претензией на непогрешимость иные критики и литературные рецензенты годами не замечают факта, что их так называемую «действительность», которую они считают

материалом искусства, разные художники трактуют до неузнаваемости по-разному. Они защищают собственное представление о действительности от действительности в произведениях искусства.

Каждое утро в 9.30 от пристани Старой Гагры отходит катер на подводных крыльях. Белый и быстрый.

Сейчас полнолуние. Каждый вечер луна выходит из-за гор, точь-в-точь как утром солнце. Поэтому светло становится только между половиной восьмого и восемью, а еще позже правее по блеску горного выступа видно, погожий будет день или нет.

Молодой человек, который вместе с женой живет двумя номерами дальше; мы считаем их эстонцами или вроде того. Он всегда погружен в тяжелые, мрачные мысли и спозаранку, когда мы все только-только встаем, уже работает у себя на балконе. На пляж он приходит совсем ненадолго, чтобы искупаться.

Наши соседи, доводящие нас до отчаяния, потому что целый день и далеко за полночь сидят с двумя друзьями у себя на балконе и играют в карты, причем им в голову не приходит, что они могут кому-то мешать.

Недавний телефонный звонок — отдельная история. После долгого застолья с шампанским и водкой мы приходим в гостиницу, девочка [администратор] встречает нас упреками, почему мы не вернулись часом раньше, ведь был звонок из Москвы, при этом Буняк — другого времени он не нашел! — сообщает мне по-английски, что в Сухуми прибыл пароход с немецкими туристами. Наконец спрашиваем, как обстоит со звонком в Берлин, в ответ слышим, что об этом ничего не известно. Зато я должна немедля связаться с Москвой, с Крымовым, которому как раз сейчас позарез нужна статья о немецкой молодежи, я объясняю ему, что ничего не получится, в разговор то и дело встревает русская телефонистка, спрашивает, не заказывала ли я разговор с Берлином, я говорю «да», она говорит, что надо закончить разговор, но Крымов упорно твердит про свою статью, — жуткая неразбериха. В конце концов я услышала далеко-далеко хриплый мамин голос, а потом и Аннетту, как легкое дуновение. Затыкаю ухо пальцем и больше угадываю, чем слышу, о чем они толкуют. Речь о зимних ботинках, и я наивно отвечаю: «Но ведь сейчас лето!»

Мария Сергеевна весь последний год занималась процессом против целой воровской шайки. Речь шла о ценностях в размере 40 миллионов старых рублей, опасались, что главаря приговорят к смертной казни. Но он получил 15 лет, «и все были счастливы». Однако ж гонорар за этот процесс она пока не получила, поневоле

влезла в долги и недавно здорово развеселилась, когда подруга в стихотворном письме сообщила, что деньги вот-вот переведут. Недавно М.С. обронила, что у нее совершенно пропало желание работать, так утомительно, скучно… «Я не люблю защищать человека, который убивает другого, чтобы отнять десять рублей». — «Часто так бывает?» — «Да, довольно часто. Люди же все с ума посходили».

«Люди остаются людьми», — сказала она в другой раз.

Время от времени вдруг более-менее продолжительные прорывы откровенности. От критики наших фильмов — она считает их невозможными — до порядков вообще. Что шесть-семь лет назад здесь дышалось свободнее. Новый закон, до трех лет. «Как бы нас ни притесняли, мы все равно самые веселые люди на свете». После работы не ложатся спать, а собираются компаниями, пьют, смеются… «Ну а что делать».

Отдушины. Со временем встречи становятся довольно-таки бессодержательными, мы это замечаем уже и здесь, где почти каждый день устраивают какой-нибудь праздник. Вчера у адвоката, который каким-то чудом сюда добрался, мало-помалу в комнате собралось человек десять. Кофе на купленной спиртовке, потом притащили коньяк.

Вьетнам здесь никакой роли не играет. Китайцы. М.С. с ненавистью изображает их раскосые глаза. Предубежденность к «местным»: не работают, а благодаря торговле ведут красивую легкую жизнь. Вчера по причине двух анекдотов еще и недоверчивость к помощи, которую оказывают африканцам. (Третьего советского специалиста не съели, потому что вождь учился с ним в Университете им. Лумумбы. Африканское правительство, которому дали независимость, от ужаса рухнуло с пальмы.)

Теперь здесь наконец-то и сами хотят жить, по горло сыты лишениями ради всяких идей.

Обстоятельства в Центральной России, из окна автомобиля: разутые, грязные, пьяные. «Что нужно этим людям? Бутылка водки!»

«Если китайцы нападут, мы будем совершенно одни. По-моему, американцы нам помогать не станут».

На широком, не слишком проникнутом культурой почвенном слое — сравнительно тонкий слой городов.

«У нас хорошая молодежь: образованная, умная. Но никто не понимает, что ей нужно и что с ней надо говорить честно. Она скептична».

Она больше видеть не желает войну и борьбу, она устала.

Процесс год назад. Клиент — врач, участвовавший в массовой

краже. 12 лет. «Он мечтал о десяти годах…»

«Иногда я плачу, когда вечером прихожу из суда домой. Человек невиновен, а ты не можешь разъяснить это суду…»

Быть может, внутренняя борьба за сохранение личности — типично западное явление, идеал, ограниченный считаными европейскими странами? А в других местах дело идет просто о жизни? Уже здесь, на юге, как посмотришь на людей… например, вчера в Сухуми.

Конечно, и коммунизм тут имеет другие варианты. Уже не общество, которое даст каждому возможность раскрыть свои способности…

Здесь, как нигде, отчетливо ощущаешь, что все продолжается, даже без твоего участия, и что в будущем не стоит об этом забывать.

Ниночка с ее немецким другом, который вдруг упомянут в разговоре. Он живет в Ростоке, и она об этом говорить не хочет. Уплетает сласти, пьет вино, а Юре позволяет дойти лишь до определенной границы.

Лева, всегда наготове, с синим рюкзачком.

Как меня в брюках не хотели пускать в «Гагрибш»[12].

Мать М.С. — наполовину немка, наполовину армянка. Ее любовь к шлягерам 20-х годов: «Что надо Майеру на Гималаях», и «Ночью человек не любит быть один», и «Как назло, бананы», и «Что ты делаешь с коленкой, милый Ханс».

Курд, который все время кланяется и которого я все время подозреваю в том, что он выпивши.

Люди стали хитрыми, чтобы устроиться.

«Вера? — говорит М.С. — Ни во что я больше не верю. В юности верила во все. Тем горше было разочарование».

Возможная честность функционеров.

«Знаете, на этот вопрос мне трудно дать точный ответ. Во всяком случае, будь я в партии, меня бы давным-давно вышвырнули. Вот и живу беспартийная, делаю свою работу, и всё».

Пока есть надежда, что постепенно все же станет получше.

Любит Пастернака, Паустовского, Казакова, Достоевского. Не доверяет честности Эренбурга, Симонова благосклонно принимает к сведению: «Но ведь нельзя всю жизнь писать о войне, нельзя жить только воспоминаниями». Шолохова презирает как плохого человека: раньше он был честен, потом поднялся в верхи и хотел там остаться, стал пьяницей, да и не написал больше ничего.

Приспособленчество людей замечают сразу. Недавно в руках у М.С. были статьи Эренбурга о космополитизме…

Определенные анекдоты не переводятся. В большой компании разговор остается ни к чему не обязывающим.

Косик[13] о соотношении эмпирических обстоятельств и преходящих или вечно живых ценностей, относительного и абсолютного, чрезвычайно актуально во времена «опустошенного, обесцененного эмпиризма». Из этого противоречия наверняка возникнет большой конфликт!

Функционеры как большей частью излишний, непродуктивный слой.

Если искать историческую аналогию, то, увы, снова и снова обращаешься к католической церкви и ее пастырскому воинству.

Духовное обновление марксизма, пожалуй, вряд ли придет из Советского Союза — слишком мало брожения, слишком много смирения. Пожалуй, слишком много страданий в прошлом, они измучены. Слишком велика инерция огромной страны, которую они при каждом шаге должны тащить за собой.

Расхожие слова: но люди же не меняются! Люди остаются людьми. Хотят, чтобы их оставили в покое, хотят жить — разве они неправы?

Когда по соседству играют в карты на чужом языке, мне это не мешает.

«Новый человек» вообще не существует — из всех обманов это был наиболее рафинированный и, пожалуй, наиболее неосознанный для самих обманщиков.

Нет больше крупных личностей, которые, вынужденные признать, что не могут иметь все, бросают то, что как-никак имеют, и презрительно кричат своим грабителям: «Ничего мне не надо!» Существуют лишь разные уровни приспособления к возможному — по крайней мере, теперь. Нам еще довелось увидеть, как из-за неприспособления к возможному банально-возможное расширялось до мнимоневозможного. Этого мы забыть не можем, не желаем примириться с нынешним состоянием, над которым незримо висит призыв: храни существующее!

Утверждать, что в основе искусства лежит «партийность», значит базировать его на чем-то производном — а ведь искусство становится искусством, только если идет от исконного. Но такого, пожалуй, ныне нигде не найдешь.

4.11

Подготовка к «праздникам» состоит в развешивании лозунгов — очень длинных, очень высоко, — в побелке бордюров, мытье ворот и т. д.

Мария Сергеевна, Нина, Золя, Марк, Герда уехали. Любопытно, как мало-помалу они все же раскрывали себя. Марк только в последние дни заговорил, хотя и скупо, о времени, проведенном в Германии, он прожил год в Берлин-Вайсензее, в комнате, где под потолком висела неразорвавшаяся бомба, обезвреженная. На Франкфуртер-аллее у него была девушка. О полковнике Петерсхагене, которому не следовало сдавать город врагу. В последний вечер Марк выдвинулся в главные герои моей истории и говорит только одно: «Солнца никогда не будет». Все думают, будто он в самом деле так говорил, и он примирился, перестал их разубеждать. Неожиданное редкостное согласие. Обоюдная симпатия, поскольку он почувствовал, что я угадываю, какой он (а может быть, каким он был), и вдруг вспомнил давно забытого себя.

В последний день Золя устроила ему жуткую сцену: из-за того, что он не мог оторваться от карточной игры с поэтессой, нашей соседкой. Он явно чувствовал себя до крайности неловко, ведь Золя совершенно потеряла самообладание, но остался спокоен. Потом зашел попрощаться, сказал: «Пусть всегда будет солнце» [популярная русская песня 1962 г.] и добавил: он бы остался, если б мог. С минуту мы стояли в смущенном молчании, пока он не докурил сигарету.

М.С. в последний вечер: «Вообще, сила русских людей в том, что они встречаются, радуются и т. д.» Она рассказала о семье, уже четверых членов которой защищала, и о том, как слава адвоката передается из уст в уста.

Нина вечером при расставании о своем немецком друге: его зовут Дитрих, и она желает ему доброго здоровья. Нина и медведь Юра, который бы с удовольствием закармливал ее сластями, но она не разрешала.

Белокурый эстонский (?) поэт, который всем своим поведением показывает: я иначе не могу. Сидит в купальном халате и работает, делает гимнастические упражнения, прыгает в море, серьезно идет со своей симпатичной молодой женой в столовую. Сегодня он, к нашему превеликому удивлению, очень приветливо сказал нам по-немецки: «Доброе утро».

Немецкие слова в русском: «бутерброд», «шлагбаум», «парикмахерская», «маршрут».

Любопытные французские остатки со времен 1812 года: «шаромыжник» — от «cher ami», то есть «милый друг», так голодные солдаты, попрошайничая, обращались к крестьянам,

теперь «шаромыжник» — человек, у которого вообще ничего нет, конченый.

«Шваль» — от «cheval», «лошадь»: мертвые лошади валялись повсюду, шваль — дрянное, негодное, пропащее.

Народ здесь, пожалуй, еще больше, чем у нас, становится покорнее, равнодушнее, приспосабливается.

Позавчера утром ни с того ни с сего очень душно и пасмурно. Я чувствовала вялость. Уже с утра 25°, притом довольно ветрено. К вечеру духота отступила, вчера в первой половине дня прошел дождь, после обеда ветер все усиливался, волны высоченные, как никогда. Мы поднялись на гору, забрались в какую-то глухомань, собак почти столько же, сколько ребятни, по дорогам шныряют свиньи. Сегодня с утра прохладно, всего 15°, море еще бурное, но волнение все же послабее, чем раньше, небо совершенно ясное, с чудесным солнцем.

Я, конечно, не могу достаточно подкрепить это примерами, но у меня такое ощущение, что историческая роль, которую Советскому Союзу, хочешь не хочешь, придется играть и в будущем, находит пока мало осознанной поддержки со стороны населения. Народу вполне достаточно «истории», которая, как он полагает исходя из своего опыта, неизбежно вступает в огромное противоречие с нормальной, в самом обычном смысле человеческой жизнью.

И видеть, как исполинские по своим возможностям производительные силы этой страны лишь в немногих аспектах действительно концентрируются и используются, а все прочее остается в забросе, без применения… как здесь, в кавказских лесах, гибнут каштаны… Этой гигантской человеческой массе словно бы недостает чего-то вроде всепроникающего, организованного производительного духа, или же он есть, только охватил покуда лишь незначительную часть этой массы, а остальные спокойно преследуют совсем иные цели. Но как раз это для нас опять-таки очень притягательно, ведь мы приехали из маленькой заорганизованной страны, где производство-то идет, но дух все больше утрачивается.

5.11

Недавно в кино среди сатирических роликов сюжет, где пожилую женщину с большим багажом отправили пешком по Москве и снимали скрытой камерой, поможет ли ей кто-нибудь. У молодых людей даже спрашивали, почему они не помогли, и,

видимо, получали довольно резкие ответы. В конце концов к ней подошла ровесница, подхватила один из чемоданов. Репортер в свою очередь пытался поднести пожилым женщинам сумки, и всякий раз они недоверчиво отказывались от помощи.

Вчера, как обычно, допотопный августовский киножурнал «Новости дня». Десять минут самые замечательные ораторы тогдашней сессии Верховного Совета. Публика зашушукалась. Потом фильм киностудии Ленфильм «Девочка и мальчик», цветной, о том, как симпатичный ленинградский мальчик соблазняет в Крыму девочку-судомойку, потом не пишет ей, оставляет с ребенком, о котором, наверно, ничего не знает, большая трагедия Гретхен, совершенно никакого действия, просто она рожает ребенка и остается одна. Время от времени у горизонта без всякого повода проплывает корабль, и все прекрасно одеты, чего на самом деле здесь не увидишь. Публика живо сопереживала, а авторы фильма, вероятно, очень гордятся собственной смелостью. По задаче фильм просветительный, хотя и в конце не знаешь, что он, собственно, советует девочкам и мальчикам. При наличии рекламы контрацептивов все это потеряло бы актуальность — или бы смягчилось при изменении закона 1944 года.

Лева сегодня в русской рубашке. Все утра просиживает на берегу за шахматами, в своей бахромчатой шляпе.

Наша маленькая женщина, предупреждающая меня не вывешивать купальник вечером на балкон.

Леночка, которая все делает в воде: раз, два, три… Сегодня она уезжает и, как все, бросает в воду 10 копеек, я дарю ей куриного бога, а она мне — пестрый камешек.

В море иногда медузы.

Женщина с бледно-красной розой, приколотой к черному платью. В первый вечер ее все время приглашал танцевать один и тот же мужчина, позднее она, пожалуй, избегала его.

Женщины на пляже, у всех под солнечными очками козырьки для носа.

Корабли, которые при спокойной воде и расплывчатом горизонте как бы парят меж небом и морем.

Три одинокие девушки на пляже, вяжущие на спицах свитера.

Вертолеты, зависающие прямо над последними домами возле гор.

Поэтесса, которая всю вторую половину дня играет в карты, а вечером вдруг нараспев читает стихи.

Мы видели здесь растущую и снова убывающую луну. Она выходит из-за гор поздно вечером, зато утром бледный серп долго висит в небе.

Когда мы приехали, солнце садилось ровно в половине седьмого, сейчас — уже в самом начале седьмого. Вчера долго после заката невероятная и неописуемая игра красок — алых, золотых, зеленых и голубых во всех оттенках. На расстоянии пяди от горизонта какой-то самолет прочертил ровную золотую линию.

Море сегодня было бутылочно-зеленое. Последние дни: яркое, сильное, но уже не жгучее солнце.

Как быстро солнце закатывается за горизонт и под конец, в последнюю секунду, становится не более чем раскаленной красной точкой.

6.11

Вчера вечером — «Война и мир». Пожилой крестьянин, от которого нам досталось два билета. Позднее, поскольку мы сидели рядом, он спросил, откуда мы приехали, где тут живем, а главное, сколько стоила путевка, чтобы в точности доложить обо всем жене.

Сам фильм не так плох, как твердят здесь поголовно все. Есть даже очень хорошие эпизоды. В конце второй серии, которая выпущена досрочно, только внутренние монологи Болконского на фоне пейзажных кадров. Публика начала уходить.

Соединить опыт с настроением. Прощание с летом — но именно с этим летом.

Вахтерша в нашем корпусе — воплощение повсеместного формализма.

Горы начинают окрашиваться по-осеннему.

Осень началась с особенно жаркого дня.

Море начинает танцевать.

Пальмы на фоне огненно-красной каемки неба.

Прохладная кожа после купания. Блаженство горячего супа.

Какой контраст — все еще жаркое солнце и уже прохладный воздух.

Одно-единственное, большое, многослойное облако над горой.

Бледный месяц исчезает только в полдень.

Самое чудесное, когда море взбудоражено ветром, который до нас не достигает.

Одна и та же жизнь смотрит на нас темными глазами на смуглых лицах. Но вправду ли одна и та же?

Вечером на улице — улица тут всего одна — видишь: вина тут хоть залейся.

Если в полдень выставить холодное вино на солнце…

Когда на балконе после обеда становится слишком холодно, чтобы писать, сидя на солнце, пора восвояси.

Последние добавочные дни имеют решающее значение.

Полное отсутствие газет, да и вообще новостей маловато.

Самыми лучшими и самыми веселыми были разговоры о наших планах, но встречались нам и люди, которые без вина развеселиться уже не могли.

Прочитать Джордано Бруно, который не отрекается.

Множество собак, они совсем не злые и живут припеваючи.

Огоньки на кухнях, куда можно заглянуть, когда вечером проходишь мимо, вдоль склона. Издалека все огоньки как точки.

С удивлением обнаруживаешь, что в итоге все-таки продвинулся вперед и что, пожалуй, решающую роль сыграли как раз добавочные дни.

Три недели — маловато, чтобы подружиться, и многовато, чтобы остаться равнодушным.

К детям тоже относятся хорошо. На склоне они играют в футбол; когда девочки идут в школу, им завязывают белые банты.

Невольный соблазн жить тем, что здесь растет…

Массовик нынче днем упорно надувает воздушные шарики.

Свежепричесанные и крепко пахнущие головы людей накануне праздников. Аврал в парикмахерских.

У субтропического парка — белые мраморные скульптуры спортсменов, например дискоболка, в купальнике.

У лебединого пруда — маленький лучник.

Перед прекрасной бухтой художники сумели установить ее живописное изображение.

Гора, где трудно найти путь к вершине. Лестницы, всегда заканчивающиеся у определенного дома.

Запахи на горе: забродившее вино, фекалии, еда.

Сегодня вечером мы видели, как корова невозмутимо щиплет листья инжира.

Дорога, что все глубже вгрызается в горную глухомань.

Можно прослыть чудаком просто потому, что просишь кофе.

Подпольные продавщицы мандаринов у входа на рынок. Поехать в Киев и продать мандарины по 4 руб. за кило.

Как на горе используется каждый м^2. Большая мандариновая плантация, сторож с ружьем и собакой.

Огромное равнодушие природы, которому мы, по своей природе, должны что-нибудь противопоставить.

Притча о филистере современного образца, который сжирает все, допускает любое зло и хочет только покоя для себя. Приложима к обеим сторонам мира.

Мы приехали сюда в поисках чего-то. Но чего? И нашли ли?

Мы притащили с собой как можно больше своего, кое-что забыли, а под конец оно снова в нас всколыхнулось. Сон стал поверхностнее.

Сегодня ливень на все октябрьские лозунги и плакаты.

Поздравление: «С праздником!»

Вчера праздник в сан. [санатории] «17-й партсъезд». Комплекс шикарный во всех отношениях. Танцы на воздухе, с «аттракционами». Тамошний массовик — образцовская фигура. Устраиваются народные танцы, дети. На самом деле появляется и автор «Пусть всегда будет солнце», все поют эту песню. Люди жаждут любых развлечений, но у них почти нет на них времени — кроме как за возлияниями.

Интересно, что нет ни одного эмигрантского романа немецкого автора из Советского Союза.

Сегодня утром музыка и танцы в вестибюле.

Лева говорит, что он, хоть в нынешние времена это и нелегко, всегда старается оставаться в хорошем настроении. Дома у него круглый год висит картинка: красивая девушка с бокалом шампанского, поздравляющая с Новым годом.

Кто такой Митчелл Уилсон? «My Brother is my ene-my», «Life in thunder» [«My Brother, my Enemy», «Life with Lightning» — «Брат мой, враг мой», «Жизнь во мгле»].

Хочется остановить время, но приходится его тратить, чтобы познакомиться с самими собой.

Сидим на одной скамейке с воспоминаниями.

Погода здесь меняется резко.

На каждом пляже есть свой смельчак, который вечером еще разок лезет в воду.

Прометей на скале. Позднее, чтобы потрафить богу, он носит ее осколок в перстне.

Потом прорывается тревога за все то, что еще надо сделать. Больше ни дня прогулок, купанья, загорания.

Жертвоприношения, когда уже нет сомнений, что дело принимает другой оборот: из сострадания к богам, чтобы те не выглядели лжецами.

Здесь прочитаны:
«Мадам Бовари»
Рахель Фарнхаген
Дневники Геббеля
Стерн: «Сентиментальное путешествие»
Переписка Гёте и Шиллера
Бахман: рассказы, стихи, радиопьеса

Часы, проведенные в большом переполненном кинотеатре на жестких, скрипучих стульях…

Когда приехали, мы думали о том, что вообще можно сделать с этой узкой полоской между горами и морем…

Думали, что уедем не изменившись. Но изменилась не только наша кожа.

9.11.66, день отъезда из Гагры, последнее утро. Опять солнце после двух дождливых дней. Уже в зимней московской одежде. Опять с этой тетрадкой на верхней платформе.

Вчера, после поздней и для всех нас неожиданной встречи с Дымшицем, долгая вечерняя прогулка с ним. Осторожный разговор с внезапным порывом к откровенности. Ольга Берггольц и ее три мужа. «Не знаю, как она еще жива. Выпила все Черное море». О «Новом мире» [литературный журнал] и Твардовском: критическая часть очень полемична, слишком полемична, без подлинного предмета спора. Вкус Т. в изобразительном искусстве консервативен. Крестьянская позиция, из которой он исходит. В «Литгазете» опубликована статья Лифшица, теорет. вождя «Нового мира», где Пикассо, Матисс и многие другие ничтоже сумняшеся причислены к декадентам.

Начало разговора о фильме «Крылья», который он, как и мы, нашел интересным и который здесь большинству не понравился. Ведь там показано, что в обычной жизни нельзя работать военными методами (для нас это было в фильме не главное).

«Сейчас у нас так много мнений — возможно, потому, что раньше было только одно, так что вообще уже не знаешь, как в них разобраться».

Его неприятно поразила дискуссия вокруг «Оле Бинкопа»[14]: люди не понимают, что это и есть реализм, не однобокий, а диалектический. На наши зондирующие попытки объяснить, при которых мы нет-нет да и вставляли колкости, он почти не обращал внимания. Только потом, когда, сидя на скамейке у моря, мы заговорили об основной проблематике, о деидеологизации через экономизм, он живо согласился, распространив эту проблему и на другие страны. Я рассказала о своих наблюдениях на Унтер-ден-Линден. Он сказал: «То, что вы говорите, чрезвычайно важно и могло бы стать новаторской художественной темой. Человек, который видит все с высоты, сильный человек, Оле Бинкоп в городе». — «Не так-то просто, он наверняка должен быть одиночкой». — «Не думаю. Он мог бы опираться на нравственные резервы в народе». — «Они существуют, особенно среди молодежи. Но все то, что я только

что критиковала, возникло ведь не вопреки партии и не самотеком, а как раз при поддержке партии». — «Да, партия вынуждена делать такие вещи, по экономической необходимости, вспомните наш нэп, это ведь то же самое. Но она должна сохранить нравственные резервы. Другой вопрос, использует ли она их».

Он рассказывает о множестве фильмов, ведь был главным редактором всей кинематографии.

О «Войне и мире» — слишком иллюстративно, недостаточно психологично. Батальные сцены очень хороши, но стендалевские, а не толстовские.

Смесь консервативного и прогрессивного, всегда стремится к уравновешенным оценкам. Войну закончил в Либаве[15](Латвия), получил телеграмму с вызовом в Берлин, поездом доехал только до Позена[16]. Потерял в Ленинграде 14 близких родственников. Воевал с огромной ненавистью. Но когда увидел первых гражданских немцев, изголодавшихся, измученных, женщин и детей, в битком набитых вагонах, его чувства резко изменились: в нем ожило сострадание, и в Берлине он смог без труда работать с немцами.

Наш редактор, насквозь беспомощный, позволяет себя спасать, на самом деле не находясь в опасности, рассказывает, как мало зарабатывает он и как много зарабатывает его шеф — тоже здесь присутствующий, — мол, кто только нынче не говорит так, а завтра этак.

Еще Дымшиц: до чего ужасна ситуация с разделенной Германией, раз воссоединение попросту немыслимо. Что же думает народ? Молодежь. Называет нашу юность «романтической».

Вторая половина дня с тремя литовцами. Решительные мнения. Представители народа, который борется за существование. Проблема Ионы. Как они смотрят на фильм «Никто не хотел умирать». Что историческую правду пока высказать невозможно. Называют чудовищную цифру 25 миллионов. Ни одну лит. семью не пощадили. 3 млн жителей, из них 1 млн русских, поляков, евреев, в городах весьма смешанное население, в деревне — литовское. «Каждый народ хочет жить». Ассимиляции боятся гораздо больше, чем национализма. Но доступ в мир все равно только через русское, поголовно все женщины, учительствующие на селе, попутно изучают русский.

Сегодня утром долго говорили о возможном будущем плане, о материале, который был бы по-настоящему национальным и

имел бы шанс дойти до народа так же, как здесь «Война и мир». Чего только мы до сих пор не пропустили из-за узкоклассового мышления. К.В. [Конрад Вольф] как главный герой или как собирательный образ. Необходимые поиски художественной зацепки. Антипод, который скатывается в прагматизм. Систематически разрабатывать этот план, расширять, обогащать. Собственно, он и есть итог этих недель. Больше не ввязываться в глупые другие схватки. Создать условия, чтобы сделать вот это. «Возвращение домой» и «Премиальное жюри» как предварительные этапы. Использовать приобретенную зрелость. Читать. Выспрашивать людей. Работать.

Хилое, бледное солнце. Море поблескивает. Получило свои десять копеек. Через 20 минут уезжаем. Всё.

Герхард Вольф о четвертой поездке

По собственной инициативе, на гонорар, полученный за русское издание «Расколотого неба» (нем. изд. 1963, рус. пер. 1964), мы поехали в дом отдыха, в Гагру, Грузия/Сванетия, где бывали и гости Союза писателей СССР. Перед этим мы встретились в Москве с переводчиком книжного издания «Расколотого неба» Николаем Буниным. Затем мы посетили расположенный в 70 километрах к северо-востоку исторический город Золотого кольца — Загорск, который теперь вновь, как в XVIII веке, называется Сергиев Посад. Там находится монастырь Троице-Сергиева лавра, включенный ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия. Продолжительную прогулку по Москве — Криста об этом не пишет — мы совершили со Львом Копелевым (1912–1997). Он рассказал нам о литературной жизни города, о поэтах и писателях, о которых сотрудники тамошнего Союза писателей в официальных беседах отзывались отрицательно или вообще молчали. С тех пор наши встречи происходили на двух уровнях, частном и официальном.

С Копелевым мы познакомились в 1965 году во время одного из его визитов в Восточный Берлин, на квартире у Анны Зегерс. По этому поводу он пишет в своем дневнике от 27 июля 1965 года: «[…] Она подробно расспрашивает о Бродском. Волнуется, когда я плохо отзываюсь об Эренбурге. „Он мой друг, в 1940-м в Париже спас мою семью, если будешь так о нем говорить, уходи“. Вмешивается Род, успокаивает нас. Угощает крепким венгерским вином. У Анны я познакомился с Кристой и Герхардом Вольф». С того дня мы вплоть до его смерти в 1997 году поддерживали дружеские отношения. С Копелевым встречались не только корреспонденты западногерманских СМИ, чтобы получить информацию о критичных умах русских правозащитников; у него в гостях бывала и Анна Зегерс, когда официально приезжала в Москву. Так, в дневнике от 30 октября 1966 года, когда у него гостил Генрих Бёлль, Копелев описывает встречу, по сей день почти неизвестную: «Вчера Анна разговаривала с Генрихом: его хотят наградить Ленинской премией, по ее и Арагона предложению. Большинство членов жюри „за“. Генрих, решительно: „Пожалуйста, не надо. Я эту премию не приму, пока здесь двое писателей сидят в лагерях[17]. Не хочу и не могу принять эту премию“. Анна: „Но мы ведь не можем оказывать политическое давление на советское правительство“. Генрих: „Я и не хочу давления. Просто не хочу принимать премию от государства, которое так обходится со своими писателями“». В

Гагре мы впервые узнали юг, каким Криста описывает его в своих записях. Там мы наряду с другими московскими юристками познакомились прежде всего с Марией Сергеевной, боевой адвокатессой, которая открыла нам многие до тех пор неизвестные аспекты страны; в конце 1920-х годов она была в Берлине и вполне хорошо говорила по-немецки, часто используя словечки тогдашнего берлинского жаргона и цитаты из шлягеров; мы с ней подружились и нередко посещали ее впоследствии, приезжая в Москву.

Криста Вольф работала в это время над книгой «Размышления о Кристе Т.». Через год после поездки в Гагру она передала Владимиру Стеженскому текст, который он встретил с энтузиазмом, намереваясь перевести на русский язык. В 1969 году ей пришлось ему в этом отказать, потому что книгу — опубликованная в 1968 году, она была подвергнута критике, переиздания в ГДР были запрещены, новое издание вышло только в 1972-м — нельзя было печатать в социалистических странах. На русском языке ее выпустили в 1979-м в томе «Избранное» в переводе Софьи Фридлянд.

Совершенно неожиданно мы встретили Александра Дымшица (1910–1975). После 1945 года он был в Берлине советским культурофицером и выступал с недогматическими по тем временам инициативами (насчет Брехта и др.), но позднее занимал консервативную позицию, особенно по отношению к диссидентам.

Писатель, которого мы считали эстонцем, заговорил с нами в конце нашего пребывания: Казис Сая (р. 1932) из Литвы, он писал тогда пьесу «Иона», по библейской легенде об Ионе, которого проглотил и выплюнул кит: «Понимаете, Иона — это Литва, а кит — Советский Союз». В 1990 году Сая был среди тех, кто подписал декларацию о независимости Литвы.

Задуманный нами вместе с режиссером Конрадом Вольфом фильм «Возвращение домой» о богатой конфликтами истории человека, сына немецких эмигрантов, который позднее других возвращается из Советского Союза, после представления расширенного сценария реализовать не удалось: запоздалое последствие 11-го декабрьского пленума СЕПГ 1965 года, пленума «сплошной вырубки», на котором Криста Вольф единственная выступила с возражениями. Задуманный роман «Премиальное жюри» она забросила; незаконченная рукопись хранится в Берлине, в архиве Академии искусств.

Поездки Кристы Вольф значительно усилили ее интерес к русской литературе и ее современным авторам. Так, в Берлине мы встречались с Юрием Казаковым (1927–1982), в чьих рассказах

без навязанных амбиций социалистического реализма отдавалось «предпочтение внутренней биографии» персонажей. Это привлекло симпатии Кристы к Казакову, и она написала к сборнику его избранных рассказов («„Трали-вали“ и другие рассказы» [«Larifari und andere Erzählungen»], 1966) предисловие: «Свое собственное». В 1967 году, выступая по радио по случаю годовщины Октябрьской революции, она выбрала малоизвестную и совершенно нетрадиционную повесть Веры Инбер (1890–1972) «Место под солнцем» (1928). В своем выступлении она по-своему подчеркнула «смысл нового дела» и «огромное удовольствие от всего человечного, огромное творческое стремление».

Романы Юрия Бондарева (р. 1924) о войне и послевоенном времени — такие, как «Тишина» (1962) и «Последние залпы» (1959), — представили события тех лет в новом критическом свете; по нашему приглашению Бондарев навестил нас в 1968 году в Кляйнмахнове.

Владимир Стеженский — Кристе Вольф. Москва, 20.12.67

Дорогая Криста!

Я в полном восторге от твоих «Размышлений о Кристе Т.». По-моему, это действительно большая литература, которая появляется редко. Очень, очень здорово! Молодец! (Надеюсь, ты не совсем забыла русский язык.) Надо быть круглым дураком, чтобы выдвигать против этой повести глупые возражения. Я уже слыхал, кто-то у вас сказал, что эта повесть малооптимистична. Будем надеяться, что последнее слово останется за разумом, а не за глупостью.

Как ты поживаешь? Как семья? У нас тут было много твоих соотечественников, дискуссия продолжалась целых два дня. Первый был ужасно скучный, но второй кое в чем интересен. Подробности можешь узнать у Эвы Штритматтер, которая, кстати, выступила хорошо, с собственными мыслями и т. д.

В середине января, возможно, поеду в Мюнхен: «Комма-Клуб» пригласил группу наших писателей.

Твою повесть я отдал в редакцию «Иностранной литературы» (тов. Черниковой). Они хотят сами прочитать и отрецензировать.

С сердечным приветом,

твой Володя

Криста Вольф — Владимиру Стеженскому

Кляйнмахнов, 15.6.69

Дорогой Володя Иванович,

помнишь, как гениально ты когда-то перевел мне одну из замечательных русских пословиц: назвался груздем, полезай в кузов? Так вот, я — груздь и потому снова и снова лезу в кузов, хотя вообще это должно бы мне надоесть.

Не думай, что я настроена очень уж мрачно, напротив. По-моему, мне хорошо, как мало кому. Ненависть, с которой я сталкиваюсь, более чем уравновешивается любовью с другой стороны. Как раз в эти недели я получаю множество читательских писем, частью потрясающих. Люди открывают мне сердце, ждут помощи в своих личных делах, дарят меня доверием, как близкого человека. На ближайшие годы работы у меня больше чем достаточно, да и вообще: все в порядке. А что мне еще надо? Я ведь никогда не стремилась на сухое и удобное местечко. Жаль только, вам сейчас не удастся выпустить эту книгу. А мне очень этого хотелось, думаю, у вас она нашла бы хороших читателей. Кстати, здесь на следующей неделе сдают остаток тиража, и целая куча зарубежных издательств уже подала заявки.

Ты уже подобрал название для своей антологии? Как тебе «Следы на рассвете»? Здесь ведь соединяются оптимизм и более глубокий смысл?

Летом мы всей семьей проведем 14 дней в Венгрии, на Балатоне. Если очень повезет, то в сентябре поеду с ПЕН-клубом во Францию. А между делом надо кое-что написать. Ближайшая работа — фильм об Эйленшпигеле, который я представляю себе очень красивым и смешным. Мои критики совершенно правы: нам нужны жизнерадостные, сильные герои, которые одерживают верх!

Ты спрашиваешь об Анне. С ней не очень благополучно. Уже на съезде она показалась мне совсем слабенькой, а теперь, несколько дней назад, упала у себя в квартире и, как я слыхала, разбила верхнюю губу и сейчас опять лежит в больнице. Значит, у нее опять нелады с кровообращением. Я очень о ней тревожусь.

Дорогой Володя, если ты в этом году к нам не приедешь, то повидаться нам не удастся. Будем надеяться на следующий год.

Передай привет всем, кого я знаю, особенно Ирине и дочерям. Будьте здоровы и веселы!

Всего тебе доброго,

Криста

Криста Вольф. Свое собственное (1966). Юрий Казаков

«Опыт мой, вероятно, тот же, что и у большинства моих сверстников. В детстве и юности — война, жизнь мрачная и голодная, затем учеба, работа и опять учеба… Словом, опыт не особенно разнообразен. Но я склонен отдавать предпочтение биографии внутренней. Для писателя она особенно важна. Человек с богатой внутренней биографией может возвыситься до выражения эпохи в своем творчестве, прожив в то же время жизнь, бедную внешними событиями…»

Проза Казакова живет на границе, которая словно бы установлена между традиционной прозой как сообщением о чем-то случившемся и поэзией, инструментом тонких, едва доступных восприятию процессов. Казаков эту границу не соблюдает. Он знает: поэзия не зависит от литературного жанра, не зависит от ритма и рифмы; она не создается искусством и не привносится в жизнь «искусственно», чтобы сделать ее «красивее», сноснее. Поэзия привязана не к искусству, а к людям, к их совместной жизни — жизни людей работающих, любящих, поддерживающих один другого, борющихся, учащихся друг у друга. Искусство не создает поэзию, может лишь отыскать ее. Она там, где существуют подлинные человеческие отношения. В тяжелом труде, даже в горе и слезах и то может быть поэзия. Только от лжи и жестокости она прячется.

Поэзия живет в тоскливой песне пьяницы-бакенщика и в сдержанной нежности девушки, его подруги; она живет в тоске молодого парня у ночного костра по истинной чистоте в музыке: песня, особенно длинная, должна иметь собственный аромат, как река или вон тот лес.

Юрию Казакову не нужен интерпретатор. Его рассказы понятны всякому, хотя отнюдь не просты. Автор — ему сейчас тридцать девять — написал их до 1965 года. И возникнуть они могли именно в это время, когда советская литература, особенно писатели помоложе, к которым принадлежит Казаков, вновь начали непредвзято смотреть вокруг. К числу их открытий относятся тонкие, сложные процессы в душе человека, болезненная отсталость и новый взгляд на зачастую робкие, простые, будничные представления о счастье у людей, к которым стоит присмотреться.

Россия и Север — вот ландшафты казаковской прозы. Наряду с чуткостью одно из самых больших ее преимуществ —

конкретность. Так и хочется сказать: этот автор просто с осторожностью переносит на страницы своей рукописи тщательно — но опять-таки не чересчур тщательно — размеченный участочек земли со всем, что на нем живет. Кажется, ему известен способ, как проделать эту сложную операцию, не повредив жизненный нерв своего предмета, не убив его и не подделав. Жившее прежде продолжает свою чудесную, а порой и диковинную жизнь, не обращая внимания на наблюдателей, которых теперь хватает (в последние годы эти типично русские истории переведены почти на все европейские языки). Человек, проделавший эту операцию, как бы остается в стороне. На самом же деле — ведь это и есть «способ» — он каждый раз всецело отдает себя этому кусочку мира людей, животных и растений. Иной раз он это показывает и называет себя «я»: «Я был счастлив в ту ночь, потому что ночным катером приезжала она». А иной раз опять — и куда чаще — как бы отсутствует, уступает место другим, в том числе животным.

«Свое собственное». Вот ключевые слова для человека и животного в этих рассказах. Персонажи Казакова стремятся к своему собственному, ищут его, несчастны из-за него и радостны, когда его находят или хоть угадывают. Этим, и не только этим, они похожи на персонажей, которых мы, как нам кажется, знаем, — на персонажей Чехова, Горького, Пришвина, Бунина или Паустовского. Да, словно бы опять воскресает «давняя Россия» с ее православными сектантами, с паломниками, охотниками, рыбаками, деревенскими жителями, с ночными сторожами и тоскующими по любви девушками. И среди них Крымов, московский механик. Он и ему подобные, к числу которых относит себя и автор, — неотъемлемый фермент настоящего в этих рассказах. Взгляд автора на его порой почти исконные фигуры вполне современен: прямой, искренний, неромантичный, неподкупный и трезвый, а притом любящий, задумчивый, бережный, полный удивления и внимательный. Он видит нежные черты в, казалось бы, отупевших людях, как видит и циничную грубость парня, который на прощание отталкивает свою девушку, без причины, просто чтобы причинить ей боль.

«Больших» и «малых» тем, о которых часто слышишь, не бывает. К любой теме можно подойти щедро или мелочно. Природу можно переиначить в идиллию, любовь — во флирт, скорбь — в сентиментальность, счастье — в удовольствие. Но этот писатель не принадлежит к мелочным натурам. Он редко анализирует и никогда не декларирует; однако он понимает, понимает даже те побуждения и порывы людей, каких не понимают они сами: бурную вспышку москвички на могиле

матери в родной деревне он изображает как, быть может, последний порыв тоски по иссякающей жизни, которая незаметно соскользнула в другую колею, совсем не ту, о которой когда-то, наверно, мечтала молодая девушка.

Все, что пленяет меня у Казакова, наиболее ярко выражено в одном из самых ранних его рассказов — «Осень в дубовых лесах». Ему больше других присущ «собственный аромат». Событие — приезд любимой девушки, — изображенное откровенно и все-таки сдержанно, принимает окраску всех вещей, которые присутствуют в нем не просто как свидетели, а как соучастники: краски вечера, шум машин парохода, колышущийся круг света от фонаря. Кажется, мы сами шли этой дорогой вверх от реки, кажется, и в этот дом заходили, и возле этой печки лежали, и этот запинающийся разговор тоже вели.

И это правда. Мужчина и неприступная девушка с Севера — наши современники, если убрать из этого слова всю патетику и декларативность. Их лес на Оке нам незнаком, хотя теперь мы тоже по нему тоскуем. Но их дорогой мы ведь и в самом деле шли, этот колышущийся фонарь светил и нам, этот огонь горел и для нас, и разговоры эти мы тоже вели. Фермент «современность» — нигде я так сильно его не чувствовала. Мы следуем за ними дальше, в неловкость, в трудность их любви. Ранить их грубостью означало бы огрубить наши собственные воспоминания.

Что же в общем-то происходит? Ничего. Немного: любимая женщина приезжает, быть может навсегда, и он ее встречает. Все это, как бы точно оно ни было описано, лишь повод — и для меня все рассказы Казакова суть поводы: законные для писателя поводы выразить свое отношение к миру. Именно это и заставляет его писать, заставляет куда сильнее, чем непримечательные, почти случайные события, выпавшие на его долю в странствиях. Поиски такого мироощущения, его проверка, его созревание — вот единственная драматичность, какую читатель найдет в его книге. «Но я склонен отдавать предпочтение биографии внутренней…»

Найдет он и открытия, неприметные, как и внешние происшествия, открытия вроде тех, какие сделала некрасивая девушка, преодолев унижение: «…у нее есть сердце, есть душа, и что счастлив будет тот, кто это поймет».

Криста Вольф. Смысл нового дела (1967). Вера Инбер

Выбрать из великой и обширной советской литературы семнадцать страниц, да еще и объяснить почему — подобный выбор должен быть почти случайным. Или нет?

«Место под солнцем» я прочитала много позже «Цемента» или «Тихого Дона», Гладков и Шолохов уже были мне знакомы, когда я впервые натолкнулась на это имя — Вера Инбер. Книжечка — сто сорок страниц — попала мне в руки случайно, почти через тридцать пять лет после того, как в 1928 году вышла в Советском Союзе. Десятью, а может, и всего пятью годами раньше я бы не обратила на нее внимания. Как и знакомства с людьми, знакомства с книгами случаются вовремя или не вовремя.

В ту пору Вере Инбер тридцать восемь лет. У нее возникает новая потребность, которую отбросить невозможно, — сохранить прежний опыт. Отсюда и желание: нельзя, чтобы минувшее пропало, умерло, навсегда закоснело. И это желание осуществимо — путем воссоздания минувшего, что вообще-то возможно не в любое время, но только в тот летучий миг, когда непроглядное настоящее уже отступило настолько, чтобы стать прозрачным, доступным рассказчику, но вместе с тем еще достаточно близко, чтобы ты не успел с ним «покончить»: «В южном городе, осенью, в год гражданской войны, наступили прекрасные дни, когда море неомраченно синело и ветер спал, свернувшись, как якорный канат».

Молодая, литературно образованная, буржуазно воспитанная женщина в годы Гражданской войны находится в Одессе: «Ночи были темны и часто вздрагивали от падающих звезд». В этом смысле «Место под солнцем» — книга воспоминаний. Наверно, и в самом деле существовал этот дом на окраине Одессы, и зима стояла безнадежно холодная, и «весна наступала медленно и робко».

Я люблю книги, содержание которых рассказать невозможно, которые не сведешь к простому изложению процессов и событий, да и вообще ни к чему не сведешь, кроме как к самим себе. То, о чем рассказывает Вера Инбер, никаким другим способом не расскажешь, и никто другой не мог бы рассказать об этом, только она, — хотя ее опыт, конечно, не уникален.

Что же трогает нас в этом большом, холодном доме на окраине незнакомого города, в доме, который мало-помалу замерзает и кое-как живет лишь благодаря слабому, робкому

дыханию троих людей? Вероятно, ты и сам жил в таком вот доме, наверняка знаком с такой тревогой, у тебя прямо дух захватывает. Не только от холода. Но от эпохи, которая началась, от дороги, которая предстоит.

Слово «революция» встречается редко. Оно и необязательно, ведь без нее книга не была бы написана, женщина, которая осторожно и сдержанно рассказывает о себе, не стала бы писательницей. Она рассказывает — правда, между строк — именно о том, как прорыв реальности бросает вызов ее таланту, как резкий обрыв спокойной, вероятно, беззаботной жизни делает его плодотворным. Неправда, что суровые обстоятельства всегда противоречат поэзии, потому что суровость не значит жестокость и, как выясняется, не исключает нежности. Вот так, на первый взгляд странно, в неблагоприятные, бурные времена в глубинном слое людей, в самых его недрах, идет тяжкий процесс рождения: старая кожа отторгается или срывается, должна нарасти новая, необходимость просто сохранить жизнь влечет за собой необходимость обязательств перед этой жизнью, которая выходит навстречу в образе чрезвычайно своеобразных людей. Поначалу такая жизнь раздражает автора, в двояком смысле слова, даже веселит, притягивает своей первозданностью. В итоге же приходится держать перед нею ответ, пусть даже нет здесь иной инстанции, кроме собственной души: нет больше внешнего и внутреннего, революция повсюду. Лучших условий для писательства и быть не может.

Развиваются новые чувства, потому что без них не добраться до смысла нового дела. Новые ощущения возникают прямо у нас на глазах. Мы снова переживаем привлекательность, заключенную в по-настоящему новом: первый, ранний след в пыли еще не езженной дороги. Простая, искренняя мысль, если она настигает тебя впервые: «Но важно… „Мы“. Нас много, и жизнь велика».

Участие в сотворении: может быть, суть в этом. Дом на окраине Одессы не может разрушиться и рассыпаться, потому что каждый читатель строит его заново, как создает себе и пляж, где целое лето варят душистую уху, контору по скупке яиц и товарища Шуляка, который озабоченно постукивает карандашом по лбу неловкой молодой женщины: «Что у вас тут жужжит?» Все они уже не могут умереть и истлеть, поскольку в них постоянно будет нужда. В них, в их цельности, без остатка. Ведь там нет дрянного остатка, нет ни одного из тщательно оберегаемых резерватов, перед которыми незримо стоит окаянная старая табличка: «Частная собственность!» Не быть ничьей собственностью. Овладеть собой, целиком и полностью. Каким

образом? Работая. По-другому это невозможно.

В этой книжке нет ни одной мелочной, искореженной фразы, ибо нет мелочных, неискренних, искореженных чувств. Зато есть ум, раздумчивость, спокойный юмор, жизнерадостность и огромное удовольствие от всего человечного, огромное, плодотворное стремление.

Книга маленькая. Но в этом году она смело может занять место рядом с большими книгами своей страны.

Пятая поездка. 1968 г. По Волге в Горький и через Москву в Ленинград и Вильнюс, 17 июня — 3 июля 1968 г.

* * *

17.6. 17 часов. Вылет в Москву.
Продолжительность полета: 2 часа 20 мин.
Шереметьево: Лидия.
Гостиница «Россия».

18.6. Прогулка вокруг гостиницы. Маленькие церквушки, отчасти уже отреставрированные.
С Анной Ивановной на выставке Пиросманашвили.
14 часов: Мария Сергеевна. Калачи, вермут.
15 часов: товарищ Млечина из «Лит. газеты».
16 часов: встреча иностранцев в Союзе писателей.
18 часов: в речной порт. Отплытие «Гоголя».
Обед с Озеровым и его женой.
Вечером попойка с армянами.
На борту: Макс Фриш, Гюнтер Вайзенборн с женой, Уоттен (Канада) [Шейла Уотсон], Финкелстайн (США), Мулк Радж Ананд (Индия), румыны, болгары, чехи, Рафаэль Альберти, Мария Тереса Леон, южноамериканцы, один югослав, один ливанец, Болстад (Норв.), один датчанин, Сергей Михалков, Топер, Сучков, Рюриков, Беляускас, Севунц, Оганесян (?), Марков.

Из дневника Макса Фриша, 17–22 июня 1968 г.

Москва, 17.6

Прогулка в одиночестве вокруг Красной площади. Летняя ночь. Много народу, прохаживающегося по огромному городу; деревенский народ. Здесь теперь высотные дома, как на Западе. Девушки в не слишком коротких юбках, но короче, чем два года назад; мужчины в белых рубашках, без пиджаков. Воскресенье. Не нахожу ни одного кафе под открытым небом. Можно только бродить. Временами любовная парочка на скамейке; молча держатся за руки. Световой рекламы нет, но на улицах светло; жаль, что мне хочется пить. В одном месте двухколесная бочка, запряженная осликом, люди стоят в очереди, продажа кваса. Нарядные мундиры молодых солдат с азиатскими лицами; они здесь тоже не дома.

18.6

[…] Посадка в Горький.

Пароход, полный писателей, но: пароход всегда замечателен, а это мое первое плавание по реке. Жаркий летний вечер. Из пассажиров я не знаю никого, кроме Гюнтера Вайзенборна. Здороваюсь с Кристой Вольф (ГДР) и чувствую настороженность. Из динамика доносится музыка какого-то французского фильма. Чайки. Мы скользим…

«Гоголь». Группа на самой верхней палубе, впереди справа: Макс Фриш, Криста Вольф, Герхард Вольф

19.6

На Волге. Множество шлюзов. Мимо проплывают деревни и церкви, жара — выше 30°. Иногда, благодаря водохранилищу, Волга расширяется как море, берегов почти не видно.

Под тентами от солнца «круглый стол» о Горьком. Крайне скучно и беспроблемно. Каждый выкладывает свое, по обязанности.

Во второй половине дня — свобода. В каюте жарища. Хождение и стояние на палубах. Обеденный разговор с Джой Вайзенборн о ее муже.

Ночной разговор с Максом Фришем, почти до 3 часов. Исходя из его тезиса: «Для писателя больше нет terra incognita[18]». Он обозначает роль писателя как «продуктивно оппозиционную». «Относительно ГДР» испытывает «скованность». Он слегка полноват, уютен. Его план основать клуб самоубийц — людей, которые обязуются покончить с собой, как только заметят, что пришло время. Материал для комедии: дряхлые старики, они все еще упрекают друг друга в том, что ни один так с собой и не покончил.

Ф. усматривает проблему в продлении жизни за пределы

продуктивного возраста.

Вечером много пили, и на следующее утро мне очень плохо. Фриш спрашивает: «Ну что — беседуем дальше?»

Волга, 19/20.6

В каюте вместе с финским писателем, который говорит по-русски; общего языка нет. Он будит меня и пальцем показывает вверх, а потом в открытый рот: завтрак.

Волга…

Писатели со всего мира, но ни одного известного имени, кроме Альберти. Списка участников, к сожалению, нет. Мало-помалу путем расспросов кое-что выясняется. Из Франции никого. Из Италии только переводчик Горького; ни Моравиа, ни Пазолини, ни Сангуинети. Один старый фактотум из США, другой — из Норвегии. Молодежи нет. Никого из Англии; из Исландии поэт, который все время молчит. Ни одного писателя из Чехословакии; веселая переводчица Горького и старик из Праги, по-моему критик. Индийцы в красивой национальной одежде; их достоинство, серьезность темных глаз. Один писатель из Австралии, который присоединяется ко мне, потому что я понимаю по-английски. Один из Уругвая; маленькая группа, говорящая по-испански, остается в своем кругу и выглядит весьма оживленно. Венгры приглашают в Будапешт, болгары — в Болгарию. Информация из динамика только по-русски. Софья обеспечивает контакт с советскими писателями; это функционеры. Советские писатели, чьи имена нам знакомы, все отсутствуют… Коллективная экскурсия; фирма просит личной встречи. Но для этого недостает общего языка, собираются языковые группки. Председатель веймарского Союза писателей, говорящий только по-немецки, тем не менее счастлив, что участвует; он дает кому-то свой фотоаппарат, чтобы тот заснял, как он сидит среди индийцев, мне тоже приходится к ним подсесть: писатели со всего мира. […]

Пленум на палубе.

Все в наушниках; чайки; все выступающие говорят о Максиме Горьком одно и то же, перевода с тринадцати языков не требуется, Максим Горький как пролетарский писатель, мастер социалистического реализма, постепенно я это понимаю (без наушников) по-испански, по-португальски, по-фински и даже если не угадываю язык. Максим Горький и его конфликт с Лениным, его ссылка после революции, Максим Горький и Сталин, писатель и государственная власть — об этом ни слова. Когда я ухожу на

носовую палубу, оказывается, не я один прогуливаю пленум; функционерам тоже скучно, однако фирма требует.

Вечером опять водка.

Разговор с Кристой Вольф и ее мужем до четырех утра, снаружи светлая ночь над Волгой и страной. Благодать, что можно признать противоречия. Долгое время с нами сидел советский товарищ, слушал, но мне он не мешал. По всей видимости, доложил: сегодня мои функционеры знают, что у нас состоялся очень интересный разговор.

Встреча в Горьком.

На пристани дети с цветами, радость в праздничном белом, с красными бантами, каждый прогрессивный писатель из разных стран мира получает букет, я тоже, пионы, а к ним — ангину.

20.6

Продолжение round table[19]. Мое короткое выступление, 7 минут. Все до ужаса скучно.

Волга. Если закрыть глаза, мимо плывут берега.

Разговор с Мулком Раджем Анандом.

Праздничный ужин со всеми тонкостями.

Фриш вдруг заводит речь об Ингеборг Бахман: что он бы охотно с ней встретился (вообще-то она хотела приехать). Что брак между двумя писателями не может быть удачным; что даже мелкая ревность по поводу того, кто более значителен, играет свою роль.

На востоке даже в полночь виднеется розоватая полоска.

Сучков начинает с Маркузе. Нужна ли новая теория революции, «больше принимать в расчет интеллиг.».

21.6.68, пятница

Ночью огни Горького, вверх по горе. В гавань придем только утром.

9 утра, прибытие в Горький. Пионеры с цветами. Городской репортер: Больше движений руками! Индиец, танцующий с пионерами. Горьковчане на горе, хлопают в ладоши, машут. Автобусами в гостиницу «Россия». Вид из номера на башни кремля и волжскую равнину.

В 11 часов начало пленума. Речь Рюрикова, длинная и скучная. После 12 уходим.

Вторая половина дня: экскурсия по городу. Слияние Оки и

Волги. Дом Каширина, где Горький жил у деда и бабушки. Побуревший, меньше, чем ожидалось. 4 комнаты. Во дворе маленькая красильня. Крест, под которым убили цыган.

Вечером концерт под открытым небом. В хоре много женщин. Молодой, средней руки актер в роли дирижера. Затянутая в корсет певица-ундина в платье с золотыми нитями. Люди, идущие вверх по дороге мимо нас. Прелестные молодые парочки.

В Дом культуры. Два журналиста: один думает, что у него в Мекленбурге ребенок, с 45-го. Второй, Соломон, спрашивает об антисемитизме у нас. Не верит, что среди молодежи его нет. («Евреи — народ, среди которого есть люди очень хорошие и очень плохие». В нем есть что-то самомучительское.)

[xxx] 2 или 3 киножурнала. Не особенно впечатляющие.

Криста и Герхард Вольф на пароходе

В центре — тюрингенский писатель Франц Хаммер, справа — Макс Фриш

У памятника Горькому в Горьком (Нижнем Новгороде)

21.6

У меня теперь три русские матери: толстая горничная и гостиничная медсестра, а еще докторша, которая садится на кровать и простукивает меня, все три от беспокойства ласковые, комната, полная упитанных матерей. Общего языка нет. Мне моют шею, а вытяни я ногу, так вымоют и ее. Позднее горничная приносит подарок: три русские куклы. Союз советских писателей тоже становится по-матерински заботлив; мой функционер: «Вы ничего не потеряете, если пропустите пленум». И Софья частенько заходит, передает приветы. Пухленькая горничная рассказывает какую-то длинную историю, я не понимаю ни слова, но она ничуть не расстраивается. Господин Вольф приносит почитать — «Зинн унд форм», я читаю прозу Кристы Вольф. Советский критик

(который тогда слушал наш с Кристой Вольф ночной разговор) навещает меня, вместе с некой женщиной: оба хорошо информированы о литературе капиталистического мира. Неожиданно довольно откровенный разговор. Мне, говорит он, надо бы посетить Новосибирск, город ученых, прогрессивную Россию. Он говорит по-немецки, она — по-английски; причем он делает вид, будто не понимает по-английски, а она — будто не понимает по-немецки; то есть и она, и он говорят со мной как бы наедине, неофициально. Они остаются долго, такое впечатление, что оба рады этому часу вне Союза. При появлении Софьи разговор опять становится официальным; не могу отрицать, что глотать мне больно, увы.

22 июня

10 утра, пленум. Позднее встреча с председателем областного совета (Иваном Ивановичем) и молодым председателем городского совета (Александром Александровичем).

16 часов, закрытие пленума. Прогулка по городу. Старинные дома и улицы. Жара, жара.

Вечером прием в другой гостинице. Фриш, Вайзенборны, Сучков — за нашим столиком. Рядом много пьющие грузины.

Стеж. [Стеженский], который много пьет: «Почему ты боишься? Не понимаю. Надо писать то, что должен». Опять возникает давняя доверительность. Он говорит о своих впечатлениях от «Кристы Т.»: «Все твои вещи мне очень понравились, потому что я тебя люблю, но эта объективно хороша». Рассказывает о нелегальной стенной газете, которую сделал в 16 лет и о которой директор не сообщил наверх (был 1937 год!), он за ночь поседел. А его дочь, которой он дал свой тогдашний дневник, тоже выпускает нелегальную стенгазету и получает выговор.

Говорит, что сам не боится никогда. В войну, получив отпуск, поехал к своей возлюбленной в лагерь и ни минуты не думал об опасности. И друга он никогда не предаст.

Разгорается дискуссия о том, что «порядочно». Вайзенборн: когда честен с другими. Фриш: это связано с системой, с нынешними обстоятельствами. Когда остаешься верен другу. (Фр. довольно точно уловил, что происходит.)

Стеж. рассказывает, как после 45-го в Берлине некий граф обучал офицеров сов. военной администрации. Один из его советов: есть хрен, тогда водка идет легче.

22.6

[…] Вечером большой банкет за длинными столами, повсюду бутылки, только руку протяни, тосты, которых, несмотря на громкоговорители, никто не слышит, все сразу пьют, город Горький и Союз писателей города Горького приветствуют писателей всех стран, в зале жара, народ снимает пиджаки, икра, заливное растекается, человек пятьсот в физкультурной радости, я сижу с немцами, они потише, грузины громко бурлят жизнью, объятия, ретивый румын снова напоминает через громкоговоритель, что Максим Горький был, есть и будет пролетарский писатель, старик из Праги заверяет в том же, индиец подтверждает, самообслуживание, оркестр играет венскую музыку начала века, мой функционер поднимает бокал за мое выздоровление, аплодисменты в честь индийца, многие ходят по залу, чокаются, веймарец тоже рвется к микрофону приветствовать братские народы, но ему приходится подождать, сперва фактотум из США, грузины поют, ко мне подсаживается венгр, но мы оба не понимаем ни слова, поэтому чокаемся, веймарец добирается до микрофона, привет братским народам, никто ни слова не понимает, но он довольный возвращается к столу, выступил с речью в родном городе Горького, моя опекунша пьет, Вайзенборн украдкой подменяет водку водой, я наблюдаю за Кристой Вольф, иногда она отключается, потом опять берет себя в руки, мы издалека поднимаем бокалы, не отпивая, детский праздник, но здесь не дети, а медведи, тост за тостом, водка хороша, человек в отпуске от государства, ты человек, я человек, это не пьянка, а отдых от катехизиса, сплошь хорошие люди, вдруг вопрос: что такое порядочный человек? Я предлагаю: порядочный человек — это смелый человек, человек, остающийся верным себе и другим, вот что такое здесь порядочный человек. Согласие, выпиваем, и какой-то функционер немедля наливает снова, обходит вокруг стола, пока другие продолжают говорить, и называет имя человека, которого мы оба знаем; функционер говорит: «Порядочный человек!» Мы пьем за того, кто в опале, оттого что поддержал Даниэля и Синявского, исключен из партии, уволен из института, а в Союзе писателей, который здесь пирует, получил строжайший выговор; функционер: «Ваш друг — мой друг!..» Жутковато. Я раньше срока уезжаю в Москву, чтобы посмотреть спектакль. Софья берет меня под руку. Пожилая партийка, едущая тем же ночным поездом, опекает мою опекуншу; забирает подвыпившую в свое купе и окончательно упаивает ее водкой.

23 июня

В 10 часов на «Ракете» по Волге, экскурсия, купание в бухте. Очень жарко и душно. Топер на пароходе — как всегда, осторожный, скептичный. Не чувствует призвания к редакторской работе. Предпочел бы работать в каком-нибудь движении, но «в затишные времена, как теперь…».

Во второй половине дня — завод, огромное предприятие, где, говорят, трудятся 100 000 человек. Осмотр Дома культуры (всё носит имя Горького).

Вслед за тем — мероприятие, на котором выступали зарубежные поэты, снискавшие бурные аплодисменты. (Афоризмы Расула[20]…) Симпатичная, большей частью молодая публика.

Горький: очень вытянутый в длину город. Вечером в 22 часа на вокзал, поезд в Москву. Тесные купе на четверых, жарко.

24 июня, понедельник

5.45 — прибытие в Москву. Блуждания на вокзале. Автобусами в «Украину».

12.30 — в «Советской женщине» [политико-литературный журнал] у товарища Смирновой, получила 59 рублей, не знаю, за что.

Вторая половина дня — прогулка с Вайзенборнами: Арбат, улица Горького.

19 часов — Тамара Мотылева заезжает за нами в гостиницу. У нее дома. Первая лекция о внутренних делах. Коп. [Лев Копелев], его жизнь, причины его исключения из партии. (У нее стихотворение Бёлля в благодарность за поздравление с днем рождения; не муза.) Вполне открытая. Дело Солженицына. Впервые об обеих рукописях, которые ходят по рукам. О Гинзбург, чья рукопись против ее воли напечатана на Западе, с ней Т.М. дружит. Пражскую прессу передают из рук в руки. Т.М. читает мне вслух свою рецензию на мою повесть.

25 июня

С 10 утра в дороге с Буниным. Выставка «Природа и фантазия» в маленькой церквушке на Калининском проспекте. Донской монастырь. Впервые узнаем, что Бунин сидел в лагере (до 54-го), потому что тяжелораненый попал в немецкий плен, откуда бежал аж во Францию. Он тоже говорит более открыто,

чем обычно.

Повсюду тополиный пух.

Никто, по его словам, не уважает прав. [правительство], Кос. [Косыгин] был при Сталине каким-то заместителем, у Бреж. [Брежнева] у самого рыльце в пушку. Молодежь политикой не интересуется.

Под вечер за нами заезжает Гинзбург в своем автомобиле. Обед с ним и Трифоновым в писательском клубе. Атмосфера подавленная. Тр.: «Мы еще не дошли до низшей точки». Он написал небольшую книжку о своем отце, старом коммунисте, который умер в лагере. Рецензировалась только в «Новом мире».

Цикл публикаций о Маяковском в «Огоньке» [иллюстрированный еженедельник], который должен убедить, что погубили Маяк. Брики и другие еврейские интеллектуалы. г.: «До сих пор желтая пресса нас щадила…», «Скоро я буду виноват в его смерти, потому что я, маленький, шустрый черноволосый мальчишка, мимоходом показал ему язык».

У Трифонова глоток коньяку. Его дочь и дочь Гинзбурга.

Вечер у Стеж., Валентина в роли хозяйки, пластинка Новеллы Матвеевой.

Телефонный разговор с детьми.

Криста Вольф во время одной из бесед в Москве

Ср., 26 июня

Рано утром встречаемся с [Зигфридом] Пичманом.

10 утра — Музей Пушкина, Коп. [Копелев], фр. импрессионисты. На метро к Коп[елеву]. Разговоры, разговоры. Квартира. Его картины. Венеция. Кофе на кухне. Как норовят шантажировать подписантов.

В тот же день в «Лит. газ.». Статья против Солженицына. «Могло бы быть и хуже».

Обед в Доме актера. У К. там, возможно, состоится выставка.

17.15 — встреча с Ниной и Марией Сергеевной, прогулочная поездка на Ленинские горы, потом у нее дома. Картошка, рыба, мороженое. По телевизору баскетбол. Сережа, ее брат Петька. Она как раз проиграла апелляцию в процессе против взяточников. Много работает, чтобы в следующем году получить максимальную пенсию. («Нельзя же говорить, что думаешь, это ведь трудно…»)

23.55 — отъезд в Ленинград, в удобных поездах. С Лидией, которая переводит мне статью о Солженицыне. Разговор: она боится, что все это может повредить Советскому Союзу, которому и без того нелегко. Под конец говорит: «Писателям приходится трудно, мы, простые люди, можем постараться делать свое дело как можно лучше, а в остальном быть спокойными».

Четверг, 27 июня

8 часов — прибытие в Ленинград. Гостиница «Московская», интуристовская, где кормят только большие группы.

10–14 часов — экскурсия по городу.

Музей Пушкина (вошли с черного хода, потому что у главного очереди).

Коричневый кожаный диван, на котором он умер.

Набережная Невы, Зимний дворец, Эрмитаж, «Аврора».

Первый домик Петра I, деревянный, теперь внутри каменной постройки (на крышу как раз упало дерево). Стадион. Вид на Финский залив.

Петропавловская крепость.

После обеда: Пушкин — Царское Село [город Пушкин, до 1918 года — Царское Село]. Дворец был полностью разрушен.

Очень устала.

Вечером еще раз по городу. В 8 часов светло, как у нас в 4 часа дня. Кое-что купила, поели в номере, прямо из бумаги.

Невообразимый шум с улицы.

Пятница, 28 июня

Утром Эрмитаж. Экскурсовод Анна Ивановна Лифшиц. Обе мадонны да Винчи, вазы из малахита и лазурита, Рембрандт: портрет Анны Дорен (?) [портрет Бартген Мартенс Доомер], «Даная», «Возвращение блудного сына», «Прощание Давида с Юнифаном» (?) [Ионафаном]. Ван Дейк: автопортрет. Ранний портрет молодого Рафаэля [Портрет молодого человека]. Испанцы: Веласкес, Мурильо («Сон Иакова»). Рубенс: наброски. Фр. импрессионисты: Ренуар, Моне, Писсарро, Сезанн, Гоген, Матисс, Дерен, Пикассо.

Об абстрактной живописи. О поп-арте. Обратная перспектива и т. д. А.И. [Анна Ивановна] знает каждый гвоздь, она здесь уже 50 лет.

Ежегодно 750 000 посетителей. Иногда в день 10–20 000.

Вторая половина дня.

С Эткиндом и Федором Андреевичем [Андреем] Достоевским по местам Достоевского; дождливый вечер.

На Сред. Подьяческой ул., 45 жила процентщица. Входим в подворотню, сворачиваем направо, поднимаемся по лестнице (надо пройти несколько шагов по двору). Ф.А. показывает нам дверь, за которой «тогда», когда здесь шел Раскольников, работали художники. Показывает нам пустовавшие квартиры. На ходу повторяет мысли Раскольникова (у него в руках французская книга, в которой якобы есть ошибки). Потом стучит в дверь на четвертом этаже (теперь квартира 76). Открывает молодая женщина. Мы не предупредили заранее, но она привыкла впускать незнакомых. Кухня не убрана. Дощатая перегородка, разделявшая «тогда» кухню и прихожую, сломана. (За кухней есть еще маленькая комнатушка, о которой «Достоевский знать не мог, потому что никогда туда не заходил».) Входим в спальню: кровать, шкаф, стол, стулья, все чисто и прибрано. «Здесь у окна стояла процентщица, когда Раскольников ее убил. Вот через эту дверь вошла Лизавета…»

Эткинд между тем расспрашивает молодую женщину, у которой круглое терпеливое лицо и которая кажется этакой «посредницей»: «Вам не странно жить здесь?» Она отвечает: «Привыкаешь».

Мы благодарим и снова спускаемся по лестнице, чужаки в этом окружении.

«Отсюда, — говорит Ф.А., — 730 шагов до квартиры Раскольникова». Он объясняет нам, что Р. по понятным причинам дал дворнику «ложный адрес», мимоходом показывает нам и этот «ложный» дом Раскольникова, который для Ф.А. стоит полностью на одной ступени с автором, «настоящим Достоевским». Знаменитые 730 шагов проезжаем на машине. Улицы вымощены

брусчаткой, местами глубокие ямы, шофер (Эткинд, который все время говорит) должен внимательно следить за дорогой.

Подъезжаем к дому, где, «вероятно, жил» Раскольников. Доказательства: он находится примерно в 730 шагах от дома процентщицы. Дом угловой (сам Достоевский всегда жил в угловых домах, по возможности с видом на церковь); это дом по адресу Гражданская, 19. На его углах над маркировочной отметкой по-русски и по-немецки написано: «Помни наводнение 7 ноября 1824 г.».

Справа от подворотни поднимаемся вверх по лестнице, на площадку, куда выходили кухонное окно и дверь «хозяйки Раскольникова», мимо которых Р. так боязливо прокрадывался. 13 ступенек на чердак: раньше там была каморка Раскольникова. Несколько женщин с бельем выходят из одной двери и исчезают на чердаке. Из кухонного окна видно, что нынешняя хозяйка квартиры живет примерно так же, как некогда хозяйка Раскольникова.

Из окна коридора смотрим во двор, сейчас пустой, но еще год назад там располагалась мастерская каретника. Вниз по лестнице: в этой подворотне стоял Раскольников, когда не сумел вынести топор из хозяйкиной кухни. Напротив дверь в тогдашнюю дворницкую — «раньше она отворялась в другую сторону». Там он увидел, как блеснул топор, туда же его и вернул.

Откуда Достоевский так хорошо знал этот дом? В ту пору он материально находился в ужасном положении и, вероятно, сам брал деньги у процентщицы под заклад, как, вероятно, и сбежал от кредиторов из своей квартиры в эту каморку, чтобы написать книгу, которая не отпускала его.

Дальше, к тогдашней квартире Достоевского, Казначейская, 7. Стоим на противоположном тротуаре, дождь усилился. Какая-то женщина машет нам рукой из окна. Никакой мемориальной доски. Заходим в подворотню. Знают ли здешние люди, в каком доме они живут? Ответ: вряд ли. Внутри все наверняка перестроено, дому добавили целый этаж.

Затем к последнему дому Достоевского, где еще его вдова установила мемориальную доску. Пока мы стоим там под дождем (дом снова угловой), едущий задним ходом фургон ударяет машину Эткинда. Шофер бранит человека, который сидит сзади и должен был в заднее окно следить за ситуацией: «Твою мать!», долгие переговоры, обмен адресами. Скоро здесь будет музей Достоевского, которого до сих пор не существует. А ресторан по соседству будет называться «Братья Карамазовы».

К училищу, где воспитывался Д. Окно на 3-м этаже, за которым он делал первые попытки писать. Здание суда (зеленое)

на другом берегу канала, куда его приводили, когда обвинили в антигосударственных кознях. (Комментарий Эткинда с Брос. [Иосифом Бродским].)

Потом еще старинный вокзал, куда приехал князь [Мышкин], «идиот», модерн начала века. Стенные панно, изображающие, как здание выглядело раньше.

У вокзала мы прощаемся. (Ф.А. говорит, что записать ничего не может, нет времени.)

С 11 до 1 часу ночи мы с г. гуляем по Невской набережной, где ленинградские школьники отмечают окончание школы. Их тысячи. Многие девушки, несмотря на холод, в белых платьях, похоже, это обязательно. Несколько оркестров, опять же довольно громких. Невинные развлечения. Несколько шутих. Несколько парусов на Неве, подсвеченных красным. Мороженое, сосиски. Для молодежи зарезервирован плавучий ресторан. Светло, хотя и пасмурно. Когда мы возвращаемся домой, небо опять светлеет. Не стали ждать, пока в 2 часа разведут мосты, чтобы пропустить корабли в море.

Суббота, 29 июня

Летим в Вильнюс. (Три женщины из-за нас остаются в слезах в аэропорту — наши билеты были в полном порядке, но: места заняты. Нас первыми сажают в совершенно пустой самолет.) Встречают нас Гудайтис, Альдона, Беляускас и двое секретарей Союза.

Гостиница «Гинтарас» («Янтарь»): новая и современная.

Обед, чрезвычайно обильный, отдых…

Потом выставка прикладного искусства в новом выставочном зале в центре. Уникально красивые ковры и стеклянная скульптура, отчасти подсвеченная сзади.

Потом Старый город. Церковь с чудотворной Марией (Альдона — католичка), народ — старики, молодежь, дети, благоговейно преклоняющие перед нею колени. Нарисованное, склоненное лицо Марии полностью обрамлено металлическим венком. На стенах вокруг серебряные сердца, руки, ноги — приношения благодарных верующих, которым она помогла. По дороге к выходу: дед поднимает ребенка, чтобы тот поцеловал ногу Христа. Снаружи в колоннадах тоже коленопреклоненные женщины и мужчины на голых камнях.

Вильнюс: чистый, уютный, напоминающий (старую) Европу, требующий ремонта. Дворики. Старинная церковь, кирпичная готика. Пустынные, тихие площади, машин мало. Проспект

Ленина — главная улица. Там, в одном из кафе, будем ужинать. Секретарь Союза ждет нас, с врачом-драматургом, который, не закрывая рта, твердит, как он восхищается Германией, Вальтером фон дер Фогельвейде, старинными замками, пешими туристами, жительницей Лейпцига из Немецкой библиотеки, врачом из Эрфурта и т. д. Сюда же относится и Карл Май: «Мастер сюжета». Альдона на следующий день: «Среди врачей он драматург, а среди драматургов — врач». Я ем мало, начинаю кашлять, зябну. Вскоре мы уходим.

В Вильнюсе. Слева направо: Лидия Герасимова, Казис Сая, Криста Вольф, Герхард Вольф

Воскр., 30 июня

10.45: Казис Сая везет нас в Тракай. По дороге рассказывает историю крепости, родового замка давних литовских королей. Сказки и легенды сливаются воедино. Осмотр крепости. Невероятно красивые виды из окон и смотровой башни. Озеро, лес, поля, деревни. Пологие холмы. Сильный ветер, голубое небо, летучие белые облака.

Обед, шашлыки у друга Саи, на даче недалеко от озера (журналист). Шашлык на вертеле над жаровней с древесным углем. Домашнее пиво с севера Литвы, от дяди Казиса Саи. Под ореховым деревом. Настроение праздничное.

Обратный путь, еще одна прогулка по Старому городу,

особенно по дворам старинного университета. Картинная галерея. Церковь Петра и Павла, пышное барокко. У Саи. Мильда, Альдона, кофе.

Вечер у Гудайтиса в новой квартире. Его молодая жена. Сынишка 2,5 лет, с игрушечным пластмассовым автоматом. Атмосфера приподнятая, разговор слегка натянутый, но дружелюбный. На служебной машине домой. («Белая мечта».)

Понедельник, 1 июля

В Каунас (раньше: Ковно). С корреспондентом «Лит. газеты». В этот день очень устала. Каунас-на-Мемеле, на стрелке Нериса и Мемеля. Поездка фуникулером на гору, чтобы полюбоваться панорамой. До этого: в музее 2 ярких впечатления: литовская народная скульпторша, чьи работы обнаружили только после ее кончины, и Чюрлёнис, давний сюрреалист, чьи картины, выполненные темперой и акварелью, мало-помалу блекнут.

Литературный музей, Донелайтис, картины молодых, отчасти нам знакомых. Красивые писательницы. Все это в доме писателя, который оставил его в наследство коллегам и инвалидное кресло которого стоит там до сих пор. Прогулка по главной улице. Все — провинциальнее и грязнее, чем в Вильнюсе. Население, пожалуй, больше польское. Ветер гонит пыль по улицам, местами очень разбитым.

Назад, почти во сне.

Вечером у Альдоны. Дом, утопающий в цветах. Маленькие, заставленные, уютные комнаты. Мадонны, пальмовые листья, народное искусство: специально для нас выставка. Подарки. Застолье: мы четверо, Альдона, ее муж (врач), Казис, Мильда, 2 дочери Альдоны (блондинки), черноволосый зять, под конец еще один художник. Тосты, много еды, в конце опять громадный торт. Еще мы заходим в подвальную мастерскую обработчика янтаря и в чердачное ателье художника. Всюду подарки.

Вторник, 2 июля

С утра самолетом обратно в Москву, покупки на улице Горького. В 16 часов в «Иностранной литературе» с Топером и 5 дамами, в том числе начальницей отдела Анной Павловной с пучком и Тамарой М. [Мотылевой]. Два часа оживленного и веселого разговора, мне пришлось рассказать о своей рук[описи] и т. д. Под конец спрашиваю, будет ли она теперь напечатана.

А.П.: «С вашего позволения, я вам напишу. У нас большая редколлегия, которая по-настоящему работает, и ей нужно время…»

В «Эстеррайх. фольксцайтунг»: в Праге опубликован манифест «2000 слов». Мы встревожены.

Открываем сберкнижку на 150 рублей.

Ужин в «Украине», только Вайзенборны, Стеженские, Фрадкин с женой, кроме того, ненадолго какой-то ученый муж.

Ср., 3 июля

Спозаранку на аэродром. Вылет в 7.30, в 8 часов — Шёнефельд.

За время поездки прочитала:

Сароян. Человеческая комедия

Сэлинджер. Выше стропила, плотники!

Биография Горького, изд-во «Ровольт».

[…]

[Берлин] 4.7

После поездки в Советский Союз. План подспудно присутствовал все время. Наверно, придется написать. Первая фраза будет такая: «Начинаю со страхом». (Ф. Достоевский: «Пишу со страхом и восторгом».) Ощущение, что это мой материал.

Повсюду мы так или иначе встречались с рукописями Солженицына: Копелев, Мотылева, Трифонов, Гинзбург, Бунин, Стеж. [Стеженский], даже Сая говорили о них. Их две: «Раковый корпус» и «В круге первом». Последняя — более ранняя, сейчас он ее перерабатывает. К сожалению, она уже на Западе и будет напечатана там (как и «Раковый корпус»). Т. Мотылева: В «В круге первом» речь идет, к сожалению, о государственной тайне: об арестованных ученых, которые в лагере работают над неким изобретением (речь идет, наверно, о возможности идентифицировать голоса по телефону — важно для прослушки!). Описан, как говорят, один рабочий день Сталина. Большинство были за публикацию «Ракового корпуса». «Новый мир» уже отдал рукопись в набор, но потом ее запретили. Говорят, Федин на соответств. заседании правл. Союза занял очень консервативную позицию. Письмо Катаева Федину: он предает их общие юношеские идеалы и т. д.

С. [Солженицын] живет в Рязани, скромно, вероятно, главным образом на средства своей жены. Говорят, у него «железная воля». Другие говорят иначе: все знают — у Маяковского тоже была железная воля, а он вдруг возьми и покончи с собой. (Эткинд) С. снова и снова требует «только», чтобы его напечатали. (Гудавичюс: его критика беспощадна, не оставляет ничего хорошего, стоит «за баррикадой». Снова и снова: проблема правды.)

Откровенные разговоры, сразу повсюду, возбуждение по поводу цикла о Маяковском в «Огоньке». Хотят доказать, что М. погиб не из-за противоречий общества и своей любви к Лиле Брик, а что его сгубила литературная клика, к которой относились Осип Брик и другие еврейские интеллектуалы. (Гинзбург: «В конце концов выяснится, что виноват я: маленький, шустрый, черноволосый еврейский мальчонка-сосед, показал ему язык за день до его смерти. Это была последняя капля».) Из рук в руки передают 60-страничное письмо академика Сахарова (якобы «отца водородной бомбы»), где он говорит об условиях, необходимых для выживания человечества. Видит две величайшие опасности: истребление всего человечества ядерным оружием и скачкообразный рост населения на Земле. Демократия как условие выживания, не упрямое противостояние в силовых блоках. Свобода информации.

[…]

Вт., 6.8.68

В дневнике Фриша пьеса, которую он называет «Автобиография» (написана примерно в 25 лет): «В какой-то мере было шоком впервые всерьез представить себе, что жизнь может не удаться». — «В мире, околдованном предрассудками, собственное личное воззрение кажется мне крайне важным».

В июле 1948 года Фриш размышляет о Европе, которая дорого заплатила за свое господство над остальным миром: «Естественное следствие любого длительного господства, не только европейского, что она медленно слагает оружие. Благодаря разного рода достижениям, которые были европейскими, мир, находившийся под властью европейцев, изменился таким образом, что именно эта старая Европа, экспортируя свои достижения, раз и навсегда выбыла из гонок… Главное в том, что за все, составляющее ее, Европе пришлось заплатить цену, какую открытые и пробужденные колоссы на себя не берут, цену истории, крови, жизненной силы. Изучать мир,

узнавать его, пробуждать стоит сил. Сделать открытие или использовать изобретение, всячески их развивать и применять по-новому… Даже тот, кто не изобретал самолет, может на нем летать, заучив уже существующие приемы, ему незачем столетиями их нащупывать. Летание, однажды в принципе изобретенное, не стоит ему ничего, кроме бензина и масла, труда, ума, но не истории, не жизненно важной субстанции, и вскоре он летает лучше изобретателя, так как нервы у него моложе: например, русские или американские нервы. (У Торнтона Уайлдера: отец, мистер Антробус[21], только что изобрел колесо, а мальчишка, поиграв с ним едва ли минуту, предлагает отцу: Папа, на него можно поставить кресло!) … Речь идет, по-моему, не столько об иерархии, сколько о процессе, о развитии.

Молодые нервы, нехватка исторического опыта, скепсиса — вот, конечно, условия, когда хочешь обладать отцовским колесом и тем самым владеть миром. Нехватка скепсиса, нехватка иронии — именно это и удивляет нас в первую очередь в их физиогномии…

На что Европа должна надеяться: быть тем, чем была Греция во времена Александра, чем для Европы является Италия, стать такой для мира завтрашнего дня».

Ведь Фриш действительно еще в 1948-м написал, что брехтовский эффект очуждения надо перенести на прозу!.. Наслаждаться высоким удовольствием, что мы можем вмешаться, производя самым легким способом, ведь самый легкий способ существования (говорит Брехт) заключен в искусстве. Заманчиво приложить все эти идеи и к писателю-прозаику: эффект очуждения языковыми средствами, игровое сознание в рассказе, откровенно артистическое, которое большинство читающих по-немецки ощущают как «неприятное удивление» и попросту отвергают, ибо оно слишком «артистично», ибо препятствует вчувствованию, не позволяет увлечься, разрушает иллюзию, а именно иллюзию, что рассказанная история произошла на самом деле и т. д.

Фриш: «Почему так часто встречаются великие актрисы и так редко — великие писательницы? Эротическое стремление, источник всякого искусства, имеет женский и мужской вариант. Женское стремление — быть, мужское — создавать. Интерпретирующее искусство всегда ближе к женскому».

Слишком много встреч с собственным у Фриша. Откуда? Тот же культурный круг? Может, вариант таланта? Но почему тогда он настолько осознаннее, проницательнее? Только в силу того, что старше? Свой дневник он писал в 37 лет, я в мои 39 намного незрелее. Надо бы исследовать, почему нашему поколению в

Германии — особенно в ГДР — требуется так много времени, чтобы повзрослеть. Ужасный крюк через две исключительные — исключающие все иное и, к сожалению, также собственное наблюдение — идеи.

Знаю, что должна наконец всерьез взяться за работу. Вскоре никакой другой радости не останется. У Фриша набросок о Шинце: нормальный адвокат, которому встретился «дух», и теперь ему не остается ничего, кроме как примириться, что окружающие считают его психом. Все довольно абстрактно, мысленно остается в срединном поле, как и арлекинада, но сформулировано чисто, ловко, точно, я так не умею.

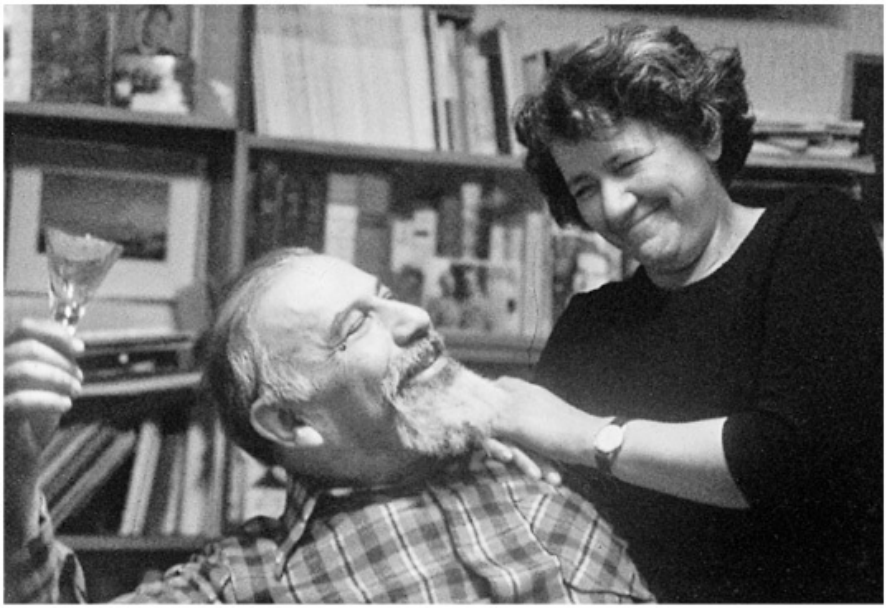
У Фриша — «случайности»: «Но мы не переживаем тех, что нас не касаются. В итоге нам всегда выпадает очередное».

Герхард Вольф о пятой поездке

На теплоходе «Гоголь» мы плыли по Волге в Горький (прежде и теперь снова Нижний Новгород) на торжества по случаю столетия со дня рождения Максима Горького. Затем путь лежал через Москву в Ленинград и Вильнюс и, наконец, опять в Москву. Плавание по Волге, в котором, независимо от нас, от ГДР участвовал только писатель Франц Хаммер, стало для нас особенным событием, так как мы познакомились с Максом Фришем. У нас с ним состоялся оживленный обмен идеями, из чего возникла горячая дружба. Параллельно с Кристой Вольф Фриш вел дневник путешествия, воспроизведенный здесь в отрывках. Криста Вольф в послании «Встречи. К 70-летию Макса Фриша» (1981) вспоминает это плавание по Волге; она еще в 1975 году писала о Фрише в эссе «Перечитывая Макса Фриша, или О повествовании от первого лица».

Далее, на Волге мы встретились с Гюнтером Вайзенборном и его женой Джой, в 1932 году он вместе с Бертольтом Брехтом поставил на сцене роман Горького «Мать», с музыкой Ганса Эйслера. Как председатель Союза писателей СССР на борту присутствовал уже знакомый нам Сергей Михалков, а кроме того, литовский романист Альфонсас Беляускас (р. 1923) и русский автор Георгий Марков (1911–1991), позднее председатель Союза. Нам довелось дискутировать с критиками и писателями Павлом Топером (1923–2006), Львом Озеровым (1914–1996), Борисом Сучковым (1917–1974) и Борисом Рюриковым (1909–1969). Из авторов с международной известностью нам были знакомы испанский поэт Рафаэль Альберти (1902–1999) и его жена Мария Тереса Леон (1903–1988), а также индиец Мулк Радж Ананд (1905–2004).

О том, что Горький позволит нам посетить «закрытый город», куда советских граждан пускали только по особому разрешению, нам, зарубежным гостям, не сообщили. Правда, по городу мы передвигались большей частью только с сопровождающими, ездили в домик Каширина, где прошло детство Горького, на большой автозавод, где строили «волги», и наконец отметили закрытие конференции в гостиничном зале, описанном у Макса Фриша. С 1980 по 1986 год город Горький был местом ссылки критика режима Андрея Сахарова (1921–1989), с которым близко дружил Лев Копелев.



Лев Копелев и Раиса Орлова в Москве

По возвращении в Москву мы встретились с Тамарой Мотылевой (1910–1992), сведущим и понимающим критиком книг Кристы Вольф в русском переводе. Она со знанием дела рассказывала об официально неупоминаемых рукописях Александра Солженицына, о вышедшей только на Западе книге Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», сообщила об исключении Льва Копелева из партии, была хорошо информирована о событиях Пражской весны 1968 года.

Льва Копелева мы посетили в первый раз, а затем неоднократно бывали у него на квартире; он подробно рассказывал о протестном письме писателей против ареста Юлия Даниэля и Андрея Синявского. Он рассказал нам о ленинградце Ефиме Эткинде, который выступил в суде против осуждения поэта Иосифа Бродского. В 1964 году Бродский был приговорен в СССР за «тунеядство» к принудительным работам, а позднее лишен гражданства. В 1987 году — уже будучи гражданином США — он получил Нобелевскую премию по литературе. О Копелеве Криста Вольф вспоминает в «Городе ангелов, или The Overcoat of Dr. Freud»: «Он, крупный мужчина, сновал в маленьких комнатушках своей московской квартиры, где вечно толпился народ, искавший у него совета и поддержки, причем кое-кто за ним и шпионил. А он пинал ногой стоявший на полу телефон: „Маленький предатель!“» Копелев читал наши книги и писал о них, частным образом или когда мог опубликовать в Советском Союзе рецензию. Наша с ним переписка шла через разных

надежных «курьеров», что лишало власти возможности читать нашу почту. В 1969 году Криста Вольф послала Копелеву экземпляр «Размышлений о Кристе Т.»; еще и четыре года спустя оба переписывались по теме книги и проблематике писательства.

В писательском литературном клубе в центре Москвы — похожем на дворец здании с рестораном, садом и двором — мы обедали с переводчиком Львом Гинзбургом (1921–1980). Он перевел на русский немецкие баллады, а также книги Арнольда Цвейга, Стефана Хермлина и Йоханнеса Р. Бехера и был хорошо осведомлен о ситуации в литературе ГДР. Его возмутила отвратительная статья в журнале «Огонек», где утверждалось, что в смерти Маяковского повинны его еврейские друзья Лиля и Осип Брик.

В тот вечер Гинзбург познакомил нас с Юрием Трифоновым (1925–1981), которому мы очень симпатизировали благодаря его романам, постоянно выходившим в ГДР. Он рассказал о своей новой книге «Отблеск костра», тема — судьба его отца, погибшего в сталинских лагерях. В интервью журналу «Вопросы литературы» Криста Вольф сказала, что Трифонов, «как шахтер с отбойным молотком, без устали упорно ломал скалу сталинизма». Мы обменивались с ним дружескими письмами и часто говорили о значении нашей литературы для человеческого достоинства.

В Ленинграде мы впервые встретились с Ефимом Эткиндом (1918–1999), который познакомил нас с внуком Федора Достоевского. Этот внук в свою очередь провел нас по местам, где происходит действие романа «Преступление и наказание», и настаивал на том, что только так, через перенос действия с автора на его героя Раскольникова, могло состояться преступление, убийство процентщицы. По этому поводу Криста Вольф пишет в своем эссе «Уроки чтения и письма» (1972):

«Трудно представить себе более глубокое и более зловещее переплетение „сюжета“ и „автора“. Лишь это переплетение дало жизнь новому, третьему качеству — реальности книги, без труда приносящей с собой „подлинные“ дома, улицы, квартиры и лестницы, но конечно же не нуждающейся в доказательстве, что дома эти и комнатушки именно таковы, какими они описаны. Ибо реальность „Преступления и наказания“ не исчерпывается топографией одного города. Санкт-Петербург? Да, конечно. Но разве станет кто-нибудь сомневаться, что не было бы никогда этого Петербурга, который все мы считаем так хорошо нам известным, не было бы этого мрачного Вавилона, если бы его не узрела разгоряченная фантазия несчастного писателя? Его наклонности, ужасная история его жизни, его чуть ли не болезненная чувствительность к нравственным противоречиям

эпохи — все это заставило художника выделить из своего нутра человека по имени Раскольников, создать вокруг него мир, который только кажется построенным из кирпичей материальной действительности и в котором он, Достоевский, может как одержимый играть с призрачными фигурами, до известной степени преодолевая то, что в „подлинном“ мире чуть не подвергло его уничтожению или самоуничтожению.

Вот так выглядят сюжеты прозаиков»[22].

Дальше наш путь лежал в Вильнюс, где мы навестили Казиса Саю, с которым познакомились в Гагре. Мы встречались с детской писательницей Альдоной Лиобите (1915–1985), подружились с нею, впоследствии ее дети приезжали к нам в Кляйнмахнов. Можно рассказать об экскурсии в легендарную крепость Тракай и о наших посиделках в вильнюсском саду у гриля, о преследованиях и тяготах литовцев в Советском Союзе, о которых мы узнали из первых рук.

Побывали мы и в Каунасе, где некогда жил литовский национальный поэт Кристионас Донелайтис (1714–1780), которому Йоханнес Бобровский воздвигает памятник своим романом «Литовские клавиры», на основе этого романа я позднее написал либретто «Литовские клавиры. Опера для актеров» (1976). Мы восхищались сюрреалистическими акварелями художника и композитора Микалоюса Чюрлёниса (1875–1911), они выставлены в затемненных помещениях и носят в большинстве музыкальные названия.

Криста Вольф. Встречи. К 70-летию Макса Фриша (1981). Перевод А. Карельского

Дорогой Макс Фриш,

места, в которых нам довелось встречаться, превратились в моих воспоминаниях в острова, поглощаемые приливом. Воспоминания в наших широтах все больше становятся своего рода службой по спасению ископаемых и реликтов. По сути, об этом-то мы, сами того не подозревая, и говорили, когда беседовали о Вашей новой книге — в Стокгольме, в мае 1978 года. Ваша новая книга тем временем вышла в свет — под названием «Человек появляется в эпоху голоцена», — и в посвящении Вы вспоминаете о том разговоре, в котором нам с г., как мы имели некоторое право полагать, отводилась роль будущих читателей. С тех пор мы не виделись больше, те острова тонут, тонут, и где же, спрашивается, твердая земля, дорога и в тумане — дорога, уже многих засосала пучина нереального, несуществующего, живые превращаются в жаждущих выжить, печаль вытесняется отвращением. Сначала боль сжимает сердце, потом больное сердце выходит из моды, и сердобольный автор обнаруживает, что потерпел крушение: природа не нуждается в именах. Каменные глыбы не нуждаются в его памяти.

Подобные фразы в нашем первом разговоре — за десять лет до упомянутого последнего — еще не вставали на горизонте. У природы были твердые имена: русло Волги, берег Волги — был май 1968 года — и пароход «Гоголь», везший писательскую братию на празднование юбилея Максима Горького. Мы говорили и говорили, сидя напротив друг друга в ресторане; медленно проплывали за окном берега, жара спадала, наступил вечер, потом ночь, погасла светлая полоска на западном берегу, а на восточном — уже под утро — затеплилась розовая полоса, и все детали исчезли, отступили в тень, отдалились даже реявшие над береговыми кручами силуэты церквей с их луковками-куполами. «Церквей я насмотрелся», — сказали Вы… Мерное пыхтение парохода над притихшей темной водой, меж темных громад земли, под звездами северного неба — эта абстрактная ситуация уже могла бы заставить нас забыть, кто мы и где мы. Мы этого ни на секунду не забывали. Мы твердо помнили, что нам следует если не быть, то хоть казаться представителями.

Потом Вы напишете, что при нашем знакомстве ощутили во мне «настороженность». Как все-таки наши ожидания предопределяют наше восприятие! Настороженность —

последнее, что могло бы мне прийти в голову, но откуда Вам было это знать? Нам приходилось до известной степени соответствовать шаблонам, прежде чем мы смогли их преодолеть. Мне, так сказать, по уставу полагалось быть настороже, Вам — козырять своими буржуазными свободами; я должна была доказывать Вам их ограниченность, Вы — упрекать меня в чрезмерном законопослушании. Но автоматизм этот функционировал отнюдь не безупречно. Праздничная трапеза внесла свою лепту, но, думается мне, был тут замешан и иной дух. Пока наш «Гоголь» несколько раз останавливался в ту ночь, и прекращался встречный ветерок, и духота заползала в открытые окна; пока пароход входил в очередной шлюз и упорно — мы могли наблюдать это по снижавшимся в окнах цепочкам огней — преодолевал разницу в уровнях между Москвой и Горьким, он, похоже, незаметно (мы не могли бы уловить сам миг и сказать: «Вот!») преодолел и границы, нас разделявшие; дух Гоголя реял меж нами, после полуночи мы и сами, уже весьма оживившись, очутились под сенью безмолвных спутников из иного мира и вопреки всем правилам, без всяких переходов повстречались на почве утопии. То дуновение утра, подумали мы, но кто знает, что овеяло нас тогда и заставило забыть все, о чем мы говорили, — так что, когда мы снова встретились уже позже, за завтраком, Вы осторожности ради спросили: «Ну что — беседуем дальше?..» Как обычный волжский пароход, вошел «Гоголь» в горьковский порт. Почва, на которой мы вроде бы так твердо стояли тогда, теперь основательно поколеблена. Не раз обнаруживали мы с тех пор, что все благие духи оставили нас, но беседу друг с другом не прерывали.

Попади мы еще раз на палубу «Гоголя» — что едва ли случится, — я могла бы указать Вам то место на ней, где Вы, опершись о поручни, упомянули имя Ингеборг Бахман, сожалея, что она отказалась поехать, — упомянули очень по-личному. Потом мне не раз приходилось замечать, что Вы спешите как бы предупредить возможные мысли других на Ваш счет. Прогрессирующая открытость личной жизни — разве не свидетельствует она о том, что границы, которые буржуазное общество провело между личным и публичным, расшатались? Что когда человека, призванного в качестве писателя быть посредником между этими сферами, лишают ответственности за публичные дела, он ощущает глубочайшую неуютность и в делах личных?

Вот о чем нам следовало бы побеседовать, когда мы встретились снова — в 1975 году, во Дворце искусств в Цюрихе. Но до этого дело не дошло, мы говорили о «Монтоке». Однако

семью годами прежде мы вдруг вполне серьезно вознамерились дать определение «порядочного человека» — помните, на вечернем приеме в Горьком? — и то, что предложили Вы, можно теперь прочесть: порядочный человек в наше время — это смелый человек, человек, остающийся верным себе и своим друзьям. Боюсь, что мы за это даже выпили, — но больше к вопросу не возвращались. Он выпал из числа возможных тем для беседы. Сознание того, что задача сформулирована неверно и, следовательно, не может быть решена, заставляет забыть все споры и умолкнуть. В 1975 году, обменявшись скупыми замечаниями о «Монтоке», мы брели по Шпигельгассе в Цюрихе. Называли соответствующие имена — Бюхнер, Ленин, — без комментариев, просто по ходу дела. Рассматривали фронтоны соответствующих домов. Подошли к дому городского писца. Готфрид Келлер. Снова Бахман.

О моральных проблемах, насколько я помню, больше не говорилось. Не в том дело, чтобы чувствовать себя порядочным человеком, что бы это ни означало. Суть не в том. А вот то, что мы не можем и не имеем права перестать мучиться этим вопросом, — вот наша единственная подлинная привилегия, постоянное напряжение, которое порождает нашу жажду писательства, но все чаще и блокирует ее. Сегодня мне кажется, что мы, интеллигенция Восточной Европы, несколько раньше западноевропейских интеллигентов осознали, что практикуем свою мораль без всякой страховки, целиком на собственный риск. Встречаясь с Вами, мы вдруг почувствовали себя мудрее и опытнее. И тот наш ночной телефонный разговор между Нью-Йорком и Оберлином, штат Огайо, между номером в отеле на Пятой авеню и кабинетом находившегося в отлучке профессора, — разговор, который уже в момент его совершения принадлежал, собственно говоря, прошлому. Возможно, именно поэтому Вам так трудно было его закончить. Это был возврат к тем временам, когда каждому из нас приходилось отвечать за всю свою страну, меж тем как каждый был уже свободен от причастности к главнейшим проблемам своего общества и представлял только самого себя.

Я вспомнила, что накануне нашего разговора я узнала об отставке канцлера Федеративной Республики Германии (на календаре год 1974-й): от молодого американского учителя, который демонстрировал мне опыт группового преподавания в своей школе… Между прочим, ночью в профессорском кабинете было ужасно холодно. Добрых пятнадцать — двадцать минут Вы повторяли одни и те же фразы, а я отвечала одним и тем же вопросом: «Но что же Вы думали?» Я завидовала Вашему

возмущению — но к зависти примешивался холод… В кругу света от настольной лампы лежала «Волшебная гора»; незадолго до этого я откопала ее в профессорской библиотеке и перечитала с жадностью — но так, как читают экзотический роман; и я боялась, что вопрос, как жить без альтернативы, отольется у меня в сухую формулу; а еще я вспомнила молодого учителя, который исключительно для того, чтобы наладить хоть какой-то контакт между черными и белыми детьми, сидевшими в классе неумолимо раздельно, задал им читать по ролям древнюю эскимосскую легенду о происхождении солнца и месяца: солнцем была черная девочка, месяцем — белый мальчик…

Скачок во времени. Формулы могут быть полезными, но жить по ним нельзя. Вы это, я думаю, поняли, когда пришли к нам на Фридрихштрассе в декабре 1976 года; пришли из чувства дружбы — и из чувства порядка, ничто из этого не устарело, и мы были благодарны Вам за это. Помню, было очень холодно, очень сумрачно, когда мы вчетвером пошли к контрольно-пропускному пункту. На этот раз речь шла о том, что остается, когда рушатся все вспомогательные конструкции, одна за другой, и какая позиция более всего приличествует тому состоянию бессилия, в котором мы оказались. Отречение не обязательно означает капитуляцию, но как избежать того, чтобы безвестность не превратилась в новую весть, т. е. в обман? Как, проникшись сочувствием к самому себе, сжиться с разочарованием, — мы ведь говорили о морали? Как всем нашим пропитанием, телесным и духовным, все еще снова и снова подкармливать того обуреваемого жаждой деятельности подручного, который в нас сидит? И как быть со страхом, всякий раз охватывающим нас, когда мы пытаемся вступить с этим подручным в борьбу?

«Литература как маскарад» — такова была тема стокгольмского конгресса в мае 1978 года, и участников просили принимать ее всерьез. Бездонная тема. Литература как притворство: маскирующий, маскирующийся автор, уже не отличающий маску от лица и жаждущий приемов, которые не были бы художественными приемами. Чувствуя, что он исчезает как тип, он вынужден выступать как личность («лично»!) — примечательное противонаправленное движение. Помню, Вы нервничали, когда нам надо было читать наши доклады в Стокгольмском университете: «Вы тоже перед выступлением не можете ничего есть?» — Я ела: салат и рыбу.

Когда приходит это «как» в нашу жизнь? Стокгольмские дома с их четкими контурами, когда мимо них проплываешь по шхерам на пароходе (опять пароход!), выглядят так, будто они сложены из деталей конструктора фирмы «Мерклин». Старый Стокгольм,

сказали Вы, в летнюю предвечернюю жару напоминает итальянские города. В Италии мы не были. В таком случае, сказали Вы, нам надо раскачаться и махнуть с Вами на несколько дней в Лапландию — потрогать там северных оленей. Это было сказано вполне серьезно, так что мы рассмеялись. И почему мы не поехали с Вами? Неужели заведомое «невозможно» так всецело поработило нас? Нельзя же ехать куда попало только потому, что пришла в голову такая блажь. Нельзя потакать своим прихотям. Всему нужно веское обоснование — даже перед самим собой. Бар, в котором мы сидели, был заполнен деловыми людьми и участниками конгресса. Никакой дух не реял над нами, не замешаны были тут никакие потусторонние силы. Даже если бы мы смогли выпить больше, мы остались бы трезвы как стекло: на почве фактов, за которыми не кроется ничего, кроме них самих. Бомба есть бомба — есть бомба.

Этой фразы Вы не сказали, но лишь она объясняет другую Вашу фразу: «*Муравьям глубоко безразлично, что кто-то все знает о них*»… Вы уедете в Тессин, сказали Вы, будете работать. Для работы Вам понадобятся словари и энциклопедии. Старый человек в своем жилище, сказали Вы, отрезанный стихийным бедствием от остального мира, будет с помощью записочек — выдержек из энциклопедий — восстанавливать естественную историю жизни на Земле, в то время как вокруг поднимается потоп. Своего рода второе сотворение мира в голове старого человека, жить которому осталось недолго, — так мы это поняли. Очень конкретное происшествие, сказали Вы, описанное во всех деталях. «Но все-таки и с некоторым выходом за его пределы?» — спросили мы. Не станете же Вы ниспровергать естественно сущее, отрицать саму жизнь. Странное, удивительное бесстрашие под маской старческого упрямства… Дорога и в ночи — дорога. Не пора ли нам перейти на «ты», сказали Вы. И потом ты записал на сигаретной пачке несколько слов.

Криста Вольф — Льву Копелеву

Кляйнмахнов, 28.11.69

Дорогой Лев,

какая удача, что сразу нашелся надежный курьер, в том числе и для книжицы, которую я прилагаю для тебя, — если ее не отослала уже сама Анна.

Господи, как же долог путь по железной дороге из Еревана в Москву, раз ты успеваешь написать такое длинное письмо! Кстати, Армения мне знакома: когда я впервые ездила в Москву, кажется в 1953-м, мы побывали в Ереване и на озере Севан. Невозможно забыть Арарат и тамошнее синее небо. Невольно смеюсь, представив себе, что именно твои черноглазые армянки интересуются моей «Кристой Т.» — разве она не насквозь европейская дама? Причем на грани меж просвещенностью и новой сентиментальностью, где некогда балансировал и некий господин Вертер, а затем покончил с собой? Моя героиня вовсе не кончает с собой, да этого делать и не следует, по-моему. Кое-кто здесь и особенно на Западе — они вообще обожают гадать на кофейной гуще — воспринимает лейкемию непременно как символ. Но эта женщина, она вправду существовала и действительно умерла от лейкемии, а что местами я слишком близко придерживалась ее реальной биографии, вообще одна из слабостей книги, возможно главная. Между нами говоря. С какой стати мне самой подбрасывать материал и без того рьяным критикам?

Тем лучше, что некоторым людям книга нравится, меня это трогает. Я и здесь, в ГДР, получаю множество писем, особенно от молодежи. Но эта книга сделала и меня — особенно по причине нелепых откликов, какие вызвала на Западе, — заблудшей овцой, пусть не окончательно заблудшей, но все-таки. Это бы не должно меня задевать, но человек — существо противоречивое, и мое тело наперекор (более разумной) голове отзывается всевозможными болячками: сердце и кровообращение не в порядке. Знаешь, нашему поколению в Германии (или, по крайней мере, в ГДР, с которой мы, хоть убей, не расстанемся) дважды резко вывернули жизненную линию. Это уже слишком. И оборачивается, с одной стороны, чрезмерной готовностью приспособиться, а с другой — чрезмерной готовностью к неврозам. Прочитав твое письмо, Герд сказал: «Бери пример. Вот это человек! Его не согнешь». Но, помнится, и тут уже заходила речь о неприятностях с сердцем?

Сейчас много читаю по истории начала XV столетия.

Собираемся сделать фильм о немецком Тиле Эйленшпигеле. Знаешь эту народную книгу? Ядреная штука. Этот персонаж, собственно, сперва надо создать, поместить в бурное время накануне Крестьянской войны, что меня как раз очень привлекает.

Твоя жена пока не сумеет добыть английское издание «Кристы Т.» — но вскоре книга выйдет в США, а также во Франции, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Италии. Я была бы очень рада увидеть ее прежде всего у вас, по-русски. Когда мы приедем, я еще не знаю. Держим курс на следующий год — но удастся ли?

Сердечный привет тебе и твоей жене, с которой я пока не знакома.

Твоя Криста Вольф

Привет от Герда.

Лев Копелев — Кристе Вольф

29 авг. 73 г.

Милая Криста!

Весь месяц наша семья живет под знаком Кристы Вольф: Рая читает по-английски «Кристу Т.», а я — «Уроки чтения и письма», и мы часто говорим о тебе! От Раи ты получишь большое письмо, а я вряд ли сумею написать много, потому что поджимает время — завтра днем уезжаем в Ленинград, а мне нужно еще передать это письмо Мышке. От нее вы можете достаточно подробно узнать о наших обстоятельствах.

И все же не могу кое-что не написать, пусть коротко и поспешно. «Обмен взглядами» и «По поводу одной даты» я прочитал с особым чувством — совершенно отчетливо слышал твой голос и видел тебя, как ты вечером у нас об этом рассказывала. Рассказы хорошие, вправду поэтичные, а одновременно зачатки большой книги, которую ты непременно должна написать. Твой опыт — опыт твоего поколения в Германии и твой личный опыт как писателя, функционера, как ищущей, думающей, верящей и надеющейся молодой немецкой женщины середины века, рубежа эпох, извечного, многослойного национального кризиса, опыт, из которого родились два твоих хороших романа (нет, «Криста Т.» больше чем хорошая книга, по-настоящему превосходная и неувядаемая), — этот опыт в большинстве своих слоев еще далеко не исчерпан. Что ты, именно ты способна создать такой многосторонний лирико-философский эпос, мне однозначно доказывает эта книга, в частности «Самоинтервью», эссе об Анне З. и Ингеб. Бахман, завершающее титульное эссе и т. д. Тебе просто надо дать себе по-настоящему неограниченную свободу, выйти не только «из самой себя», но из всех окружающих тебя барьеров различных табу и предрассудков. Салтыков-Щедрин называл это «внутренним городовым», или «внутренним цензором», которому иные его литературные современники, да и он сам, позволяли властвовать над собой и в себе. (Мелочь по сравнению с тем, что пережили и переживают от «внутренней» цензуры его внуки и правнуки.) Сейчас я как раз читаю «Из дневника улитки» Грасса. Очень хорошая книга, которая, в частности, завораживает ничем не стесненной внутренней свободой автора, порой даже неприятно удивляет нашего брата, местами граничит с эксгибиционизмом, ощущается как субъективистский произвол. В конечном счете правота остается за ним — хотя временами он кажется нарочитым, кокетливым, не только искусным, но и искусственным. Тем не

менее summa summarum[23] он убеждает, ведет за собой — не захватывает, не увлекает за собой, как в триллере, а сознательно ведет… Поскольку ты занимаешь сейчас в моих размышлениях очень много места, я снова и снова невольно думал о тебе, и, по-моему, тебе ничего не требуется. Не надо тебе ни у кого ничему учиться. У тебя уже есть собственный мир, своя особая манера письма, чувствования и выражения, с тобой никогда не возникает «впечатления эпигонства» (как ты хорошо доказала это у Бахман). Тебе просто не надо делать над собой усилий, и тогда ты не только станешь писать сама, но, так сказать, оно само будет «писаться». Ты и сама все это прекрасно знаешь, к чему мне тебя поучать.

Очень здорово, что ты есть в этом мире. Пожалуйста, поскорее пришлите весточку. Приезжайте снова, пишите, а может быть, и нам опять удастся приехать в ГДР.

Пусть Эрвин [Штритматтер] попробует пригласить нас. Он человек влиятельный. (Намекните ему потолще.) Мне бы очень хотелось напоследок еще раз повидать Веймар и впервые — Эрфурт, и Гарц, и проч.

Сердечно обнимаю тебя и Герхарда. Будьте здоровы, дорогие мои, и вы, и ваши дети.

Пишите скорее! Ваш Лев

Криста Вольф — Льву Копелеву

15.9.73

Дорогой Лев,

твое письмо всколыхнуло мои мысли, Раино — скорее мои чувства, но оба затронули те главные точки, где мышление переходит в чувствование, чувствование — в мышление: именно в это место вы и попали (что, в частности, как будто бы указывает, что вы хорошо дополняете друг друга).

В эти дни мы взбудоражены и возмущены событиями в Чили. Повторяется процесс, когда приходится — я говорю о большинстве человечества — бессильно стоять и смотреть, как под плотным покровом соглашений о моратории истребляют народы. Немыслимо, но что самое скверное: все к этому привыкли.

Эта фраза напрямую ведет в на первый взгляд отдаленную писательскую проблематику, о которой ты пишешь очень правильно, и хорошо, и чутко — попадая в самую «точку». Я помню тот миг, те обстоятельства, когда испытывала ощущение, что мне окончательно отбили руки. В казенном здании я шла вниз по лестнице меж людей, которые в большинстве придерживались совершенно другого мнения. Стоял ноябрь 1965-го. Думая об этом, я и теперь обливаюсь потом.

Мне казалось, я «поняла».

Можно бы сказать: отлично. Ведь после все пустяк, ты внутренне свободен, можешь писать как черт и не больше его заботиться о том, прочтет ли кто-нибудь написанное и как оно подействует на того, кто все-таки прочтет. Есть люди, в том числе и пишущие, которые — полуосознанно, полубессознательно — остерегаются информации, даже избегают ее, чтобы ни в коем случае не угодить в эту опасную точку и в этот довольно изнурительный конфликт. Ведь это же конфликт, потому что ты целиком и полностью был отождествлен — и в определенной степени есть и будешь отождествлен — с тем, что, следуя своей литературной совести, должен бы описывать объективно и трезво, почти как посторонний.

Вероятно, ты не сможешь себе представить — но, вероятно, как раз ты и сможешь, — сколько уровней и вариантов может иметь этот конфликт и до какой степени со временем утомляет состояние, что постоянно надо быть и мотором, и экстренным тормозом в одном лице. (Не имея представления об этой проблематике, западные критики в большинстве остаются поверхностными и незначительными, тогда как наши критики

либо по-хамски выковыривают именно этот конфликт — именуя его «отклонением», — либо вежливо стараются его не замечать.)

Я писала «Кристу Т.» — это было еще возможно — остатками моей наивности, вдобавок под настолько сильным внутренним принуждением, что местами просто нарушала границы (хотя в целом книга, конечно, содержит ряд намеренных неясностей, нечеткостей и смазанностей).

В последующие годы писать становилось все труднее. Кое-что возникало, всегда — или почти всегда — с задней мыслью: это еще не «то, что нужно». Но сколько же можно тянуть с тем, что нужно, когда тебе 44?

Ты знаешь, какую связь я чувствую с Анной [Зегерс], в том числе и как раз с трагическими чертами ее внутренней биографии. Думаю, я понимаю ее и принимаю кой-какие вещи, от которых другие, пожав плечами, просто отмахиваются, но мне, конечно, не хочется загонять себя в такую же патовую ситуацию, в какой она находится и лишь с огромным трудом может продолжать писать. Иногда мы говорим о том, что бы сейчас делал Брехт. Сумел бы он сохранить свою главную надежду, что рабочий класс станет из объекта субъектом истории (ей-то и надо бы стать у нас основой творчества). Но что, если нет? Иногда мы думаем, что он вовремя умер…

Однако я очень далека от охаивающего, критиканского толкования истории. Только вот меня неотступно занимает вопрос альтернатив. Опять-таки и это — мысль, будто писать можно, только имея альтернативу, — свидетельствует, как мы держимся за тезис, что литература немедля и непременно должна действовать еще и политически. Возможно, в иные десятилетия альтернатива как раз в том и заключается, что ряд людей (которые могут ощущать себя одиночками, даже отсталыми) попросту упорно желает выразить свой опыт. Тут, однако, возникает типичный для моего поколения излом самосознания, который я недавно эскизно обозначила в короткой статье [«О смысле и бессмыслице наивности» (1974)] для антологии «История моего первого произведения», она выйдет в издательстве «Ауфбау». Посылаю тебе эту статью, поскольку начала тебе кое-что рассказывать о себе — редко встречаешь человека, умеющего слушать, — и хочу продолжить.

Кстати, возможно, весь этот конфликт, который так затрудняет мне писание, объективно давным-давно устарел. Для себя я вижу лишь одну-единственную возможность — попытаться его изобразить (ты пишешь, я должна дать себе свободу: ах, если бы ты знал!), и то, что пишу сейчас, книгу о детстве, я рассматриваю как разбег.

Конечно, нам очень хочется, чтобы вы приехали. Только я не уверена, что от нашего приглашения будет толк. Другие возможности мы обдумаем и обсудим.

Ты знаешь, что мне хотелось бы написать еще многое и совсем другое, но связанное с этой темой. Что ж, иногда приходится послушать внутреннего городового Салтыкова-Щедрина, только надо следить, чтобы он обретался на периферии, а не в центре мозга. Мы много думаем о вас, прямо воочию видим вашу квартиру, картины в твоей комнате…

Все мы здоровы и живем беззастенчиво хорошо. Осень стоит теплая, солнечная. Порой прекрасная погода чуть ли не мешает, если внутренняя погода очень уж ей противоречит.

Привет твоим, обнимаю, К.

От меня всего несколько слов, ведь она, разумеется, уже сказала все, что можно написать. Что ни говори, мы вправду связаны с вами и с Москвой, пожалуй, даже больше, чем многие другие. А чтобы, так сказать, втиснуться в твою комнату, посылаем несколько фотографий, на одной К. даже с Х. [Хонеккером], во время выступления в здешнем ПЕНе, — и мы оба перед пейзажем художника, который нам нравится. Несколько книг в знак привета, и мы подумаем, как уладить с приглашением, наверняка что-нибудь придет в голову. Это все сухие слова, но Мышка наверняка устно кое-что добавит. Пиши, если нужны какие-нибудь книги или еще что, вероятно, Тамара [Мотылева] скоро поедет к вам, она и захватит. Таким манером возникает линия Москва — Кляйнмахнов. г.

Шестая поездка. 1970 г. В Ленинград и в писательский дом отдыха Комарово, 14–29 июля 1970 г.

* * *

Вторник 14 июля — среда 29 июля 1970 г.

Ленинград, Комарово, Москва

Города. Ленинград, дождь как из ведра, сущее пролитье, в такси, вопреки ожиданиям, нас встречают Эткинды. Почти два часа опоздания. Прямые, широкие улицы. Гостиница «Советская», новая, построена всего два года назад. Два номера, в каждом по кровати, так дешевле. (На другой день: всего 28 рублей.) Ресторан на 18-м этаже: современный, кругом стекло, прекрасный вид на город. Первый и единственный раз в эту поездку: икра. Купить ее уже почти невозможно. Водка, солянка, странный кофе.

Потом идем гулять по городу, кружными путями к берегу Невы. Жилые кварталы прошлого века. Прямые улицы, прорезанные знаменитыми каналами (на одном из этих каналов расположена последняя квартира Пушкина, на сей раз мы из-за большого наплыва посетителей внутрь не попали, здесь каждый год в час его смерти устраивают собрания). Дома в большинстве обшарпанные, в подворотни видны мрачные дворы. Как всегда, меня удивляет немногочисленность магазинов (в других районах Ленинграда вообще-то иначе). Очень много пьяных, замечаешь в первый же вечер, и впечатление остается. Сцена: прямо на улице возле невской набережной молодой парень с такой силой отшвыривает пожилого мужчину — мы не знали, пьяного или нет, — что его голова с отвратительным стуком ударяется о мостовую. Группа подростков бросается вдогонку за преступником, который с громким криком бежит по улице. Они возвращаются, старик не встает, двое матросов уложили его на лавочку. Подростки смотрят на него, идут дальше. Через довольно долгое время он приходит в себя, кое-как садится. Позднее, наверно, куда-то уковылял. В милицию не сообщили, «скорую» не вызвали.

Мы идем мимо конной статуи Петра I, по Летнему саду до Зимнего дворца. Огромная, почти пустая площадь. Белые ночи, бледный свет, до 11–12 часов. К счастью, ловим такси. Поспать особо не удается, уличный шум внизу.

Следующее утро: походы по магазинам с Вероникой Спасской, которая затем сажает нас в такси до Комарова. За рулем женщина, жесткая, жилистая, сбивается с дороги и в конце концов добреет, возможно из-за рубля чаевых. Зачастую и это не прибавляет таксистам приветливости. С багажом почти никто не

помогает.

Из К. часто [ездим] в Ленинград, на электричке, пятьдесят минут, до Финляндского вокзала. Мало-помалу запоминаем, на каком автобусе или трамвае надо ехать в город. Снова и снова набережная Невы, по которой мы не раз ходим пешком туда-сюда и теперь, вероятно, ее уже не забудем, это ведь одна из самых красивых панорам города. «Аврора», которую Герд с упрямой злостью зовет «Потемкин». Эрмитаж, зеленый Зимний дворец, пугающие толпы народу, лабиринт, несколько гектаров стенной площади увешаны картинами, мы с трудом отыскиваем своих французов: Матисса, зал с фальшивой перспективой [«Красная комната»], несколько Пикассо. Замечаем еще нескольких прекрасных голландцев, в том числе Брейгеля.

В Комарове нам советуют сходить в Музей русского искусства [Русский музей. — *Перев.*], мол, там в «запасниках» есть Шагал и Кандинский, которых иногда выставляют. Смотрительницы, которых мы спрашиваем, не знают имени Шагал, потом одна говорит, что здесь выставляют только русских художников. Много Репина. Целый ряд картин Петрова-Водкина, уже нам знакомых, потом две работы Фалька и еще одного, который мне нравится, в боковом зале. Советская живопись слабая, кроме разве что двадцатых годов. Потом перед музеем сидим на скамейке рядом с Пушкиным, где Бёлль — судя по его письму — сидел с Адмони, уже больным (диабет, гепатит), знать об этом не зная, и говорил с Адмони о крепости души… На следы Б. мы наталкивались повсюду, у некоторых были письма от него, говорили о своего рода родстве душ, которое перекрывает все идейные различия…

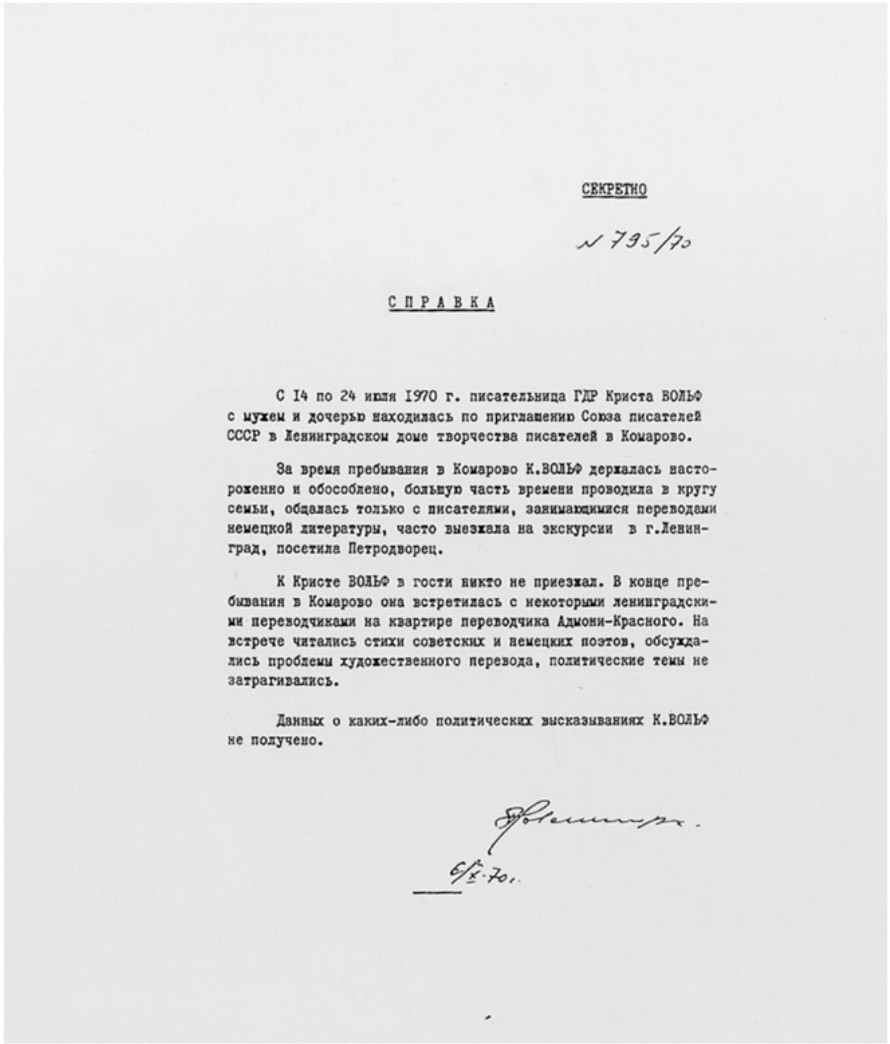
Криста Вольф. Воспоминания о Ефиме Эткинде (2010)

Ефима прислал к вам Лев Копелев, ваш московский друг, и однажды он неожиданно подкатил к дому отдыха на своей старой «победе», заехал за вами. Поездка к нему на дачу в сторону финской границы, ты помнишь сосновый лес, корявые сосны. Был конец лета. Вдруг Ефим шепнул: «Пригнитесь!» — после чего ваши головы исчезли за стеклами машины и вы беспрепятственно проехали мимо армейского часового с калашниковым на груди. Им незачем знать, что я везу вас сюда, сказал Ефим и доставил вас к деревянному дому посреди леса, где было весело, тепло и уютно, его жена встретила вас радушно, его две дочки заговорили с вашими по-немецки и по-русски. Если память мне не изменяет, сперва пили чай из самовара, с пирогами, а потом ели пельмени. Еще я точно помню, что в комнате, там, где в старых русских домах обычно висит икона с лампадой, был устроен уголок Александра Солженицына: фотографии, книги, письма, тебе показалось, там есть даже что-то вроде негасимой лампады. «Вы его знаете?» — спросили вы Ефима, и он просто ответил: «Мы дружим». Благодаря этому он для вас, особенно для дочерей, поднялся выше, в другую категорию живых существ. Эта дружба стоила ему и его семье родины, его обвинили в том, что он прятал рукописи Солженицына и содействовал на Западе их переводу. Доказать ничего не смогли, но каждый, кто знал его, полагал, что подозрения были небеспричинны, вы тоже так думали, но никогда, ни сейчас, ни позднее, не спрашивали его об этом. Так или иначе, он потерял работу, а затем его вынудили уехать. В Париже, в суперсовременном городском районе, годы спустя вы снова встретились с ним, его квартира была уставлена памятными вещицами и пропитана ностальгией, от которой, как мне кажется, умерла его жена, хотя диагноз гласил: рак.

И меж тем как я пробуждаю все это в памяти и перед моим внутренним взором проходит вереница картин, я нашла и документ, который искала, конечно же в чемодане с копиями наших досье из Штази, который открываю редко и неохотно. Это единственный документ на русском языке, справка НКВД немецким коллегам, где аккуратно описан визит некого молодого человека в нашу квартиру. Он втерся к вам в доверие […], назвав по телефону имя Ефима, после чего, разумеется, был приглашен, а потом рассказал вам, что он, изучавший в Ленинграде естественные науки — вероятно, по совместительству он делал и

это, — случайно встретил Ефима в букинистическом магазине — о эти русские случайности! — где тот хотел продать книги, поскольку вынужден уехать из страны: так он доверительно сообщил ему в ходе непродолжительного разговора. И Ефим поручил ему спросить у вас, может ли он, находясь на Западе, по-прежнему поддерживать с вами контакт или для вас это слишком опасно, и вы, неисправимо доверчивые, заверили, что хотите сохранить связь с Ефимом, и предложили ему помощь. Так в досье написано по-русски и в немецком переводе, снабженном русскими печатями. С Ефимом вы встречались снова и снова, на улице в лондонском Блумсбери, в западногерманском городе, где участвовали в одном конгрессе, в Потсдаме, уже после воссоединения, где он в конце концов поселился, на террасе его мансарды, за русским обедом. Он сыпал русскими и еврейскими анекдотами, вы много смеялись, но ему все время хотелось поговорить и о самых серьезных вопросах, его терзала тревога о будущем, он пытался избавиться от нее, без устали разъезжая по свету, читая лекции, преподавая. Сердце у него было нездоровое. Где-нибудь в пути он упадет, думали вы. А потом он умер, там, где никак не ожидал, — в Потсдаме.

Из книги «Город Ангелов, или The Overcoat of Dr. Freud»



СЕКРЕТНО

№ 795/70

СПРАВКА

С 14 по 24 июля 1970 г. писательница ГДР Криста ВОЛЬФ с мужем и дочерью находилась по приглашению Союза писателей СССР в Ленинградском доме творчества писателей в Комарово.

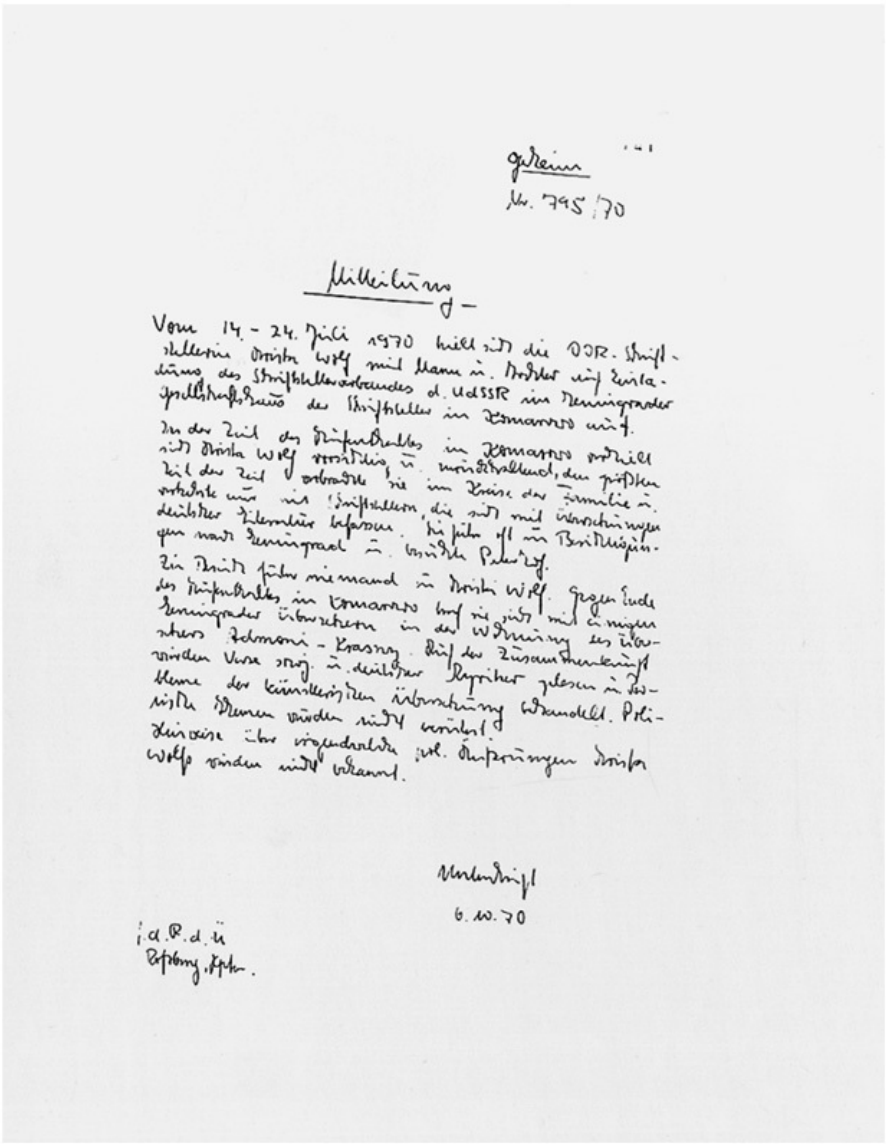
За время пребывания в Комарово К.ВОЛЬФ держалась настороженно и обособленно, большую часть времени проводила в кругу семьи, общалась только с писателями, занимающимися переводами немецкой литературы, часто выезжала на экскурсии в г.Ленинград, посетила Петродворец.

К Кристе ВОЛЬФ в гости никто не приезжал. В конце пребывания в Комарово она встретилась с некоторыми ленинградскими переводчиками на квартире переводчика Адмони-Красного. На встрече читались стихи советских и немецких поэтов, обсуждались проблемы художественного перевода, политические темы не затрагивались.

Данных о каких-либо политических высказываниях К.ВОЛЬФ не получено.

6/X-70г.

«Справка» КГБ о пребывании Кристы Вольф в Комарове, из актов госбезопасности о Вольф



geheim
Nr. 795/70

Mitteilung

Vom 14. - 24. Juli 1970 hielt sich die DDR-Schriftstellerin Christa Wolf mit Mann in Moskau auf Einladung des Schriftstellerverbandes d. UdSSR im Rahmen des Schriftstellerhauses der Schriftsteller in Komarowo auf.

In der Zeit des Schriftstellerclubs in Komarowo erhielt Christa Wolf verschiedene Einladungen, den größten Teil der Zeit verbrachte sie im Kreise der Familie in verschiedene Wohnungen mit Schriftstellern, die sich mit ihnen unterschiedlichen Themen befassen. Sie fuhr oft in Begleitungen nach Leningrad u. machte Besuche.

Ein Dritter führte niemand in Christa Wolf. Gegen Ende des Schriftstellerclubs in Komarowo hat sie sich mit einigen Leningrader Literaturen in der Wohnung des Literaturen Schmonin - Krassny. Sie las Zusammenhänge einiger Verse vor. In deutscher Sprache gelesen in Gegenwart der künstlerischen Übersetzung Wenzlaff. Politische Themen wurden nicht erörtert.

Kontakte über irgendwelche evtl. Anfragungen Christa Wolfs wurden nicht bekannt.

Verantwortl.
6.10.70

i.A.R.d.Ü
Petrowy, Hptm.

Немецкий перевод «справки» КГБ

Герхард Вольф о шестой поездке

Это была единственная поездка, в которой участвовали наши дочери Аннетта и Катрин, — отпуск в доме отдыха Союза писателей в Комарове. Мы без сопровождения поехали поездом из Москвы в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), и дочерей весьма шокировало, когда в вокзальном туалете, где не было отдельных кабинок, им пришлось просто сидеть рядом, у всех на виду. Катрин носила очень коротенькие юбочки или шорты и вызывала на улице сенсацию, так что ей пришлось переодеться.

Записи Кристы об этой поездке очень лаконичны, возможно, еще и потому, что ей не хотелось ничего записывать о встрече с Ефимом Эткиндом и его семьей, состоявшейся во время отпуска; очевидно, русская госбезопасность не заметила нашей отлучки, поскольку визит к Эткинду в «справке» КГБ не упомянут. Об этой встрече Криста Вольф пишет в «Городе Ангелов, или The Overcoat of Dr. Freud».

Дом отдыха писателей в Комарове располагался в роще неподалеку от берега Балтийского моря. Кормили нас там обильно, уже на завтрак любимая гречневая каша со сметаной и жареным мясом. О пребывании в доме отдыха, где мы подружились с еврейской парой — муж сидел в лагере, — свидетельствуют лишь фотографии, а также экскурсии к достопримечательностям, в музеи, дворцы и памятные места революции 1917 года в Ленинграде; до города можно было добраться довольно быстро.

В Комарове мы посетили могилу Анны Ахматовой. Она скончалась в 1966 году в Домодедове под Москвой, но похоронили ее там, где Союз писателей в конце 1950-х годов предоставил ей дачу: вблизи от ее выбранной родины, Ленинграда. Если со Львом Копелевым и Иосифом Бродским Анна Ахматова состояла в переписке, то Ефим Эткинд, тоже знавший ее лично, издавал ее стихи. Незабываемым стало для нас посещение квартиры филолога, лингвиста и литературоведа Владимира Адмони (1909–1993). Он был близким другом Ахматовой и рассказывал нам о ее жизни и судьбе, о гонениях и исключении из Союза советских писателей.

Через год после этой поездки вышло мое «Описание комнаты. 15 глав о Йоханнесе Бобровском», в связи с чем Лев Копелев написал мне письмо. Его рецензия на «Описание» была напечатана сначала в журнале «Дружба» (Целиноград, Казахстан, 3 марта 1973 г.), а позднее в «Вопросах литературы» (5/1973).

Посещение Петергофа под Ленинградом (Санкт-Петербургом)

Надгробие Анны Ахматовой

Криста Вольф с Катрин (слева) и Аннеттой

Герхард Вольф с дочерьми

Лев Копелев — Герхарду Вольфу

12 декабря 1971 г.

Дорогой Герхард!

От всей души благодарю за твою книгу, сегодня прочитал ее второй раз (за одну неделю) и хочу написать рецензию. Не знаю пока, для какой газеты или журнала и насколько она будет подробной, популярной или «элитарной», но напишу непременно. Потому что книга произвела на меня такое впечатление, какого давно уже ничто подобное не производило… Поэтично о поэзии! И одновременно выходя далеко за пределы чисто литературных или эстетических проблем, именно так, как ты трактуешь одушевление языка: оставаясь в конкретном образном мире, «устремляться далеко за пределы субъективной интуиции… создавать новые представления» (с. 157). Твою книгу я теперь буду везде рекомендовать как превосходный пример проникновения «в страну поэта», которое одновременно само становится поэзией. «Описание комнаты» становится критической данью судьбе поэта, поэтическим рассказом об одном — но каком! — характере и, вытекая из этого «субъективного вдохновения», из всех этих осязаемых, конкретных вещей, из совершенно конкретно ограниченного помещения — одна комната! — переходит в многоуровневые философско-художественные обобщения… Прости, пожалуйста, невнятный лепет, но, надеюсь, ты все-таки сумеешь извлечь из него смысл (поскольку у меня теперь есть и немецкая машинка, тебе будет легче)… Твоя книга имеет для меня огромное значение… Йоханнеса Бобровского я и раньше ценил очень высоко, но с каждым годом его творчество впечатляет меня все больше, все сильнее… Сравнимо с тем, что *я* впервые осознанно пережил при виде двух церквей: прекрасная, благородно простая старинная церковь Покрова на Нерли (под Владимиром) и «Дивная» церковь в Угличе издали кажутся намного больше (выше, мощнее), нежели вблизи, — чем больше от них удаляешься, тем сильнее воздействие. Не знаю, что говорят архитекторы, но я невольно вспомнил об этом, размышляя об иных посмертных поэтических судьбах — ведь хватает авторов, некогда знаменитых, восхваляемых и бурно обсуждаемых, в некрологах им сулили вечную славу и искренне стремились реализовать эти обещания в мраморе, бронзе и солидных юбилейных изданиях, однако, несмотря ни на что, позднее они существуют только для историков литературы. В противоположность Гёльдерлину, Клейсту, Траклю, Кафке, Хорвату и даже Брехту, который сейчас,

через 15 лет после смерти, предстает миру несравнимо бо́льшим, нежели при жизни. Твоя книга однозначно доказывает мне то, что прежде иной раз отметали как мое субъективное преувеличение или подвергали сомнению, а именно что Бобровский — одно из величайших и благороднейших явлений в немецкой и мировой литературе. Ты рассказал мне о нем так много нового, раскрыл такие новые связи, что, закончив большую работу «Гёте и театр», я очень хочу сесть за монографию о Бобровском. Что с такой магнетической силой притягивает меня в его поэзии, в его образном, певучем, звучном, ритмически завораживающем языке, я сегодня точно определить не могу — и не знаю, сумею ли вообще. (Но непременно попытаюсь.) Зато я совершенно точно знаю, что́ как раз сейчас особенно мило и дорого мне в его натуре — натуре человеческой и духовно-поэтической. Его сугубо личная, исконная связь с восточнопрусской родиной («patria chica»[24], как говорят в Испании, Анна Зегерс когда-то превосходно объяснила мне это понятие) — его глубокая укорененность в этой конкретно местной традиции, которая одновременно является одной из самых живучих в немецкой культуре Нового времени, — столь же естественно и конкретно соединилась с литовскими, русскими, польскими, еврейскими, европейскими и азиатскими духовно-художественными, мифологическими, музыкальными, этическими и проч. традициями. Это не порожденная его фантазией романтико-утопическая идиллия, а безыскусная, суровая, даже трагическая реальность, поэтически воплощенная и осознанная поэтом — христианином и альтруистом — во всех ее противоречиях, в том числе и как язык… «на бесконечном пути к дому соседа». Это делает его, эстетически чрезвычайно своеобычного, а экзистенциально порой эзотерического немецкого поэта, особенно актуальным и значимым для всего мира в эпоху национализмов и шовинизмов всех толков, которые так опасно растут и зреют повсюду на нашей планете, от Ирландии до Бенгалии, от Канады до Южной Африки.

А кроме того, должен признаться, я чувствую еще и очень личную связь с ним («избирательное сродство»?). Тебе, последовательному материалисту, может, и смешно, но наш брат с годами становится едва ли не падок до мистических ощущений: много лет мне хотелось основательно проштудировать произведения Бобровского, не только потому, что они привлекали меня художественно и мировоззренчески, но еще и потому, что я родился с ним в один день (9.4), и потому, что студентом и аспирантом особенно интересовался Гаманом, Гердером и Клопштоком (моя первая серьезная работа по германистике была

о «Буре и натиске»), и потому, что в войну мы находились прямо напротив друг друга (на озере Ильмень), и потому, что вскоре после возвращения к германистике (1955–1956), занимаясь лирикой Пауля Флеминга о России, в восторге от того, что первые поэтические произведения о Москве, о Новгороде и о других русских городах вышли из-под немецкого пера, я, собственно, впервые услышал и имя Йоханнеса Бобровского… Признаться, правильный подход к нему я нашел не сразу, мне понадобилось еще несколько лет, чтобы преодолеть вульгарно-идеологические догматичные предрассудки, которые довольно долго калечили мои мысли и чувства, но тем сильнее стало потом желание выявить отношения Бобровского с Россией, для меня они необычайно важны и дороги: они по-своему продолжают развиваться и углубляют давние немецко-русские и русско-немецкие духовно-эстетические связи (что снова и снова привлекает меня у П. Флеминга — чьего имени мне, кстати, недостает в твоей книге — и у Рильке). Ты очень хорошо написал об этом (с. 79–82). И Й.Б. убедительно доказывает: реально и плодотворно национальное не может не быть также реально и плодотворно интернациональным в своих истоках и «устьях». Он бы, наверно, прибег здесь к понятию «языческо-христианский», но в конечном счете это одно и то же.

Наверно, теперь ты все-таки можешь себе представить, как я тебе благодарен, что ты написал эту отличную книгу, причем написал вот так, в такой гармонии темы и формы, и прислал ее мне!

Оба раза, когда был в ГДР (в 1964-м и 65-м), я хотел повидать Бобровского, но не получилось, и я надеялся: ладно, тогда в другой раз… Теперь твоя книга стала для меня неожиданной встречей с ним… Печально и все-таки прекрасно, и прекрасное останется жить.

Множество горячих приветов Кристе, когда же я получу почитать что-нибудь и от нее?

Видаетесь ли вы с Анной? Как она? Я давно ничего от нее не слышал. Передайте, пожалуйста, сердечный привет ей и Роди. Рая передает сердечный привет, а я обнимаю вас обоих.

Твой Лев

P.S.

Можно ли купить пластинки с голосом Й.Б.? Что из его наследия еще не опубликовано? Последних четырех названий, упомянутых на супере («Бёлендорф» и др.), у меня пока нет. Там написано «распроданы»! Нет никакой возможности их добыть?

Седьмая поездка. 1973 г. В Москву на выставку, посвященную Маяковскому, 14–29 июля 1973 г.

* * *

30.7.73

Когда мы [в Берлине] возвращались на такси домой, таксист сообщил нам о тяжелой болезни Ульбрихта и высказал предположение, что, если он вдруг сейчас умрет, до конца Всемирного фестиваля его положат «на лед», ведь государственный траур не объявишь.

Картины, оставшиеся от Москвы: номер в гостинице «Варшава», лица в метро, усталые. Спины и профили членов президиума перед и рядом со мной в президиуме торжеств в честь Маяковского в писательском доме. Их спины, тщеславные, когда они стояли на ораторской трибуне. Клуб, где мы обедали, обшитый деревом. Музейная комната К. [Льва Копелева]. У окна портрет Фриды Вигдоровой, «лучшей женщины, какую он знал». Большая жилая берлога у его дочери Светланы, ее кривошеий муж, языковед. Шрифт бёллевского письма (…подпорчен славой (как мы все)). Мария Сергеевна с ее полными плечами, напротив меня. Два лица Симонова: подтянутое официальное и старое, больное. Вид на березы из его окна… Студия Б. [Бориса Биргера]. По-западному ухоженная жена Симонова. Напыщенно-патетичный декламатор на открытии выставки Маяковского. Наигранная взволнованность стоящих вокруг.

Герхард Вольф о седьмой поездке

К сожалению, об этой поездке, в которой участвовал и я, остались лишь короткие записи Кристы Вольф, сделанные позднее и слабо передающие внешнюю напряженность тех дней. Криста Вольф поехала в Москву прежде всего, чтобы взять интервью у Константина Симонова для журнала «Нойе дойче литератур». Интервью затрагивало основные жизненно важные вопросы, мы знали романы Симонова и его незабываемую песню «Жди меня», призыв к женщинам не забывать воюющих на фронте мужей, которую пели повсюду.

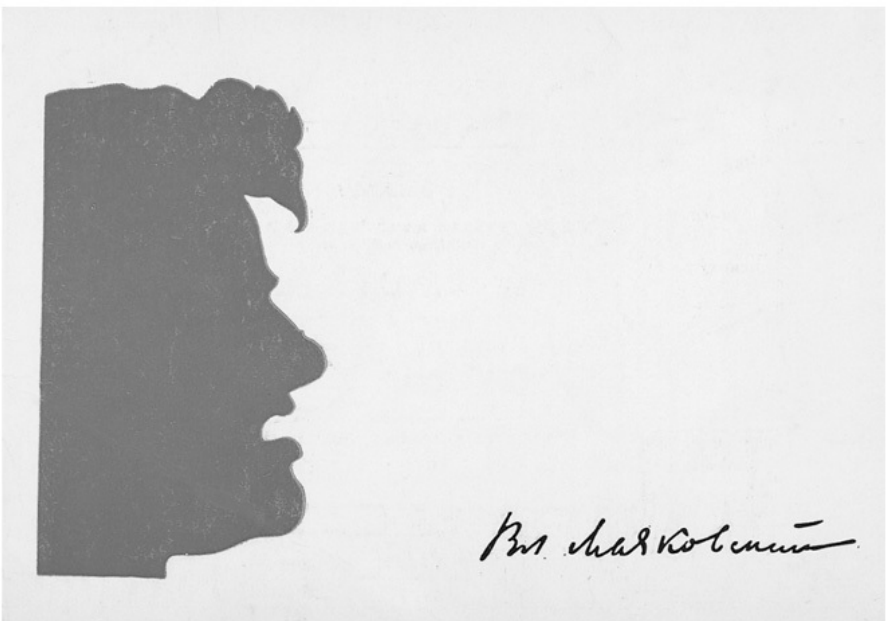
Мы также знали, что Симонов возродил выставку о Владимире Маяковском (1893–1930) — «20 лет работы», — которая для Маяковского, незадолго до того, как он пустил себе пулю в сердце, стала последним большим выступлением. Выставка, в точном соответствии с планом, созданным поэтом 43 года назад, была развернута в тех же помещениях, для чего специально вновь открыли заложенную дверь. Мы присутствовали на открытии выставки, на котором появилась и возлюбленная Маяковского, часто порицаемая Лиля Брик — старая, но несломленная дама в черном. Мы знать не знали, что Криста Вольф должна произнести речь на последующем праздничном вечере, где выступали и зарубежные знатоки Маяковского (мне был знаком только чешский переводчик Иржи Тауфер из Праги). Ее направили к секретарю Московского союза писателей, Суркову, который объявил, что она обязательно должна выступить как представительница ГДР. На ее возражение, что она вряд ли сумеет подготовить за один день соответствующую речь, он саркастически сказал: «Маяковскому уже ничто не повредит».

С помощью нашей верной переводчицы Лидии Герасимовой мы раздобыли немецкое издание стихов Маяковского (наверно, в переводе Хуго Гупперта) и взялись за работу. Речь Кристы вечером была, помнится, единственной, где упоминалось о его самоубийстве.

Этот импровизированный манускрипт, увы, не сохранился, не в пример заметкам к разговору с Симоновым, состоявшемуся в один из следующих дней в его кабинете на даче в подмосковном Переделкине, с помощью нашей переводчицы Лидии. Симонов был сильно простужен и носил на лбу повязку с лечебными снадобьями. Нас впечатлил дом, полностью оснащенный западными бытовыми приборами, но особенно оригиналы картин знаменитого художника-примитивиста Нико Пиросманашвили на стенах. Позднее интервью вызвало большой интерес.

Через два месяца после поездки нас посетил в Берлине Юрий Трифонов, о чем Криста Вольф пишет в книге «Один день года» — в дневниковой записи от 27 сентября 1973-го. С тех пор мы поддерживали с ним контакт и через его книги, выходившие в восточноберлинском издательстве «Фольк унд вельт», а также на Западе (в 1978 году он, например, получил «Premio speciale»[25] жюри итальянской Premio Mondello[26]).

Эмоциональная статья Льва Копелева об «Образах детства» (1976) полемизирует с резким отзывом Марселя Райх-Раницкого, который главным образом ссылается на четыре временных пласта текста («Печальная урна Кристы Вольф», «Франкфуртер альгемайне цайтунг», 19 марта 1977 г.), а также с возражениями Ханса Майера касательно авторских поисков правды. Тем самым Копелев, как и Генрих Бёлль, вступил в критический спор по поводу этой книги, что вызвало широкое одобрение прежде всего во Франции.



ЮБИЛЕЙНАЯ КОМИССИЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
80
ЛЕТИЯ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
В. В. МАЯКОВСКОГО
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОСЕТИТЬ
ВЫСТАВКУ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ РАБОТЫ МАЯКОВСКОГО
ВЫСТАВКА ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ В ЗДАНИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР
В ТЕХ ЖЕ ПОМЕЩЕНИЯХ, В КОТОРЫХ БЫЛА УСТРОЕНА САМИМ
ПОЭТОМ
В ФЕВРАЛЕ 1930 ГОДА
ул. Воровского, 52.

Пригласительный билет на выставку Маяковского

Владимир Маяковский в 1930 г. на своей выставке «20 лет работы»

Криста Вольф. Вопросы к Константину Симонову (1973). Перевод Л. Герасимовой

КРИСТА ВОЛЬФ. Товарищ Симонов, из круга вопросов, какие мы могли бы обсудить, я попробую выбрать те, на которые мы в силу разного опыта, вероятно, смотрим несколько по-разному, или же те, которые занимают меня сейчас и на которые мне было бы любопытно услышать ответ именно от вас. Мы люди разных национальностей и разного возраста, что не может не влиять на нашу с вами работу. Интересуют вас как писателя немцы?

КОНСТАНТИН СИМОНОВ. Мне трудно разделить себя на писателя и просто на человека, прожившего определенную жизнь. Как у человека своего поколения у меня были разные периоды разных чувств к немцам и разного характера интерес к ним.

Если касаться частной истории этих интересов, надо отсчитывать время с детских лет, с семи, с восьми. Мои первые детские воспоминания о Германии, о немцах связаны с разговорами у нас в комнате, дома, между командирами Красной армии, моим отчимом и его товарищами, насчет того, будем мы или не будем выступать на помощь Гамбургскому восстанию. Речь шла о военной помощи.

Конечно, это именно детские воспоминания, я не хочу их модернизировать. Но все-таки я отчетливо помню то, что об этом говорили: что вот у немцев там, в Гамбурге, революция — как, сможем мы помочь или не сможем? И как все это будет дальше? Я вспоминаю уроки пения в школьные годы и на этих уроках пения пою песню Эйслера «Коминтерн»: «Заводы, вставайте! Шеренги смыкайте!..»

А если вспомнить годы перехода из пионерского в комсомольский возраст (хотя я не был ни пионером, ни комсомольцем, а вступил прямо в партию в сорок первом году), я помню, как мы носили «юнгштурмовки» с портупеями — это была молодежная униформа «Рот фронта»; помню, как носили «тельманки». Это конец двадцатых — начало тридцатых годов, время, когда ожидание того, где еще, кроме нас, произойдет революция, было для меня, пятнадцатилетнего, связано больше всего с мыслями о Германии.

Если говорить о моих тогдашних чувствах, если попробовать их восстановить, кто из зарубежных коммунистов был для меня тогда первый человек — конечно, Тельман! Тем сильнее было потрясение, связанное с приходом к власти фашизма и с тем, как это все произошло, как это вдруг все-таки произошло? Это было

огромное нравственное потрясение.

КРИСТА ВОЛЬФ. Насколько мне помнится, когда окончилась война, я еще не слышала имени Тельман. Мне тогда было шестнадцать лет.

КОНСТАНТИН СИМОНОВ. […] В конце войны меня глубоко интересовало, что думают немцы обо всем происшедшем. Свидетельство этому — мои дневники сорок пятого года. Я попал в Силезию зимой сорок пятого года и разговаривал там с разными немцами — со священниками, с бывшими коммунистами, с обывателями, с мелкими буржуа — и тогда же подробно записывал эти беседы. Эти записи того времени я сейчас опубликовал, и, может быть, вам было бы интересно, если бы вам просто с листа перевели два-три десятка страниц этих бесед.

Книга эта называется «Незадолго до тишины». Там, конечно, не только разговоры с немцами, но разговоры эти свидетельствуют о моем тогдашнем огромном интересе и к Германии, и к немцам, и к тому, что будет с ней и с ними. В этих записях есть мои тогдашние выводы — почему фашизм пришел к власти, что такое немцы и как с ними быть дальше? В этих тогдашних выводах многое неправильно, в них есть крайности — но я все это оставил в тексте записок. А в примечаниях написал, что это сделано для того, чтобы наши немецкие товарищи наглядно представили себе сейчас, какую дистанцию нам в наших чувствах к немцам пришлось пройти от того времени до нынешнего.

КРИСТА ВОЛЬФ. Мне кажется, теперь вы иначе подходите к использованию своих дневников. Вы ведь и раньше пользовались ими для своих романов, но как своего рода сырьем, которое подвергалось переработке. Теперь же вы публикуете свои записи непосредственно как документ. По какой причине?

КОНСТАНТИН СИМОНОВ. Этот метод был избран мною с самого начала. Кроме некоторых, главным образом личного характера, купюр, я делал в дневниках только литературную правку, совершенно необходимую, потому что обычно эти дневники были наспех расшифрованными стенограммами, не всегда удобными для чтения.

КРИСТА ВОЛЬФ. Да, но, насколько мне известно, вы для своих романов пользовались дневниками.

КОНСТАНТИН СИМОНОВ. Я использовал свои дневники, конечно, и для романов о войне. Для одних больше, для других меньше. Но сейчас я заканчиваю работу над тем, чтобы свести все свои военные дневники в два больших тома. Это как бы параллельная работа с работой над романами — от начала войны и до конца. В тексте дневников всюду будет ясно — где то, что я

записал тогда, в дни войны, и где то, что я вспомнил и добавил сейчас.

Романы, конечно, тоже в какой-то мере опираются на дневники — потому что ведь жизнь-то у меня была одна!

КРИСТА ВОЛЬФ. В этом-то и заключается мой вопрос: каково соотношение материала автобиографического, то есть того, что сохранила память и что записано не было, возможно, потому, что тогда что-то не хотелось записывать, с дневниками, к которым теперь уже можно обращаться как к чужому документу того времени. Думаю, что чем больше отдаляешься от той поры, о которой пишешь, тем усложненней становится этот метод. […] Я расспрашиваю вас так подробно потому, что именно это интересует меня для собственной работы. Вы вот сказали, что вам и по сей день тяжело говорить о войне. Так же как и нам по сей день тяжело говорить о фашизме, хотя и по другим причинам. Знаю, мое поколение, детство которого прошло при фашизме, до сих пор еще не до конца «переварило» пережитое. О таком вот детстве я сейчас пишу книгу. У меня, конечно, нет дневниковых записей, я пытаюсь быть достоверной, опираясь на свою память, и эти воспоминания проверяю по доступным мне документам. И тут я порой делаю поразительные открытия, относящиеся к психологии памяти, — так что книга, чтобы стать «реалистической», должна иметь несколько планов.

КОНСТАНТИН СИМОНОВ. Я с вами вполне согласен. Это, по-моему, правильный литературный ход и правильный метод. Мне, во всяком случае, он очень близок. Я именно так и делаю свою последнюю книгу — военных дневников. Хочу повторить, что мои дневники сорок пятого года, если вы их прочтете, дадут вам представление, насколько велик был тогда мой интерес к немцам, к Германии и к тому, что будет после войны. […]

После войны я был в первой нашей воксовской[27] культурной делегации, которая поехала в Германию. И здесь у нас, в Москве, я занимался в Союзе писателей приемом первой делегации немецких писателей во главе с Келлерманом. Тогда у меня возникли первые знакомства с моими немецкими коллегами, в том числе с Вайзенборном, Клаудиусом, Хермлином. Здесь, в Москве, встретил Буша и впервые после войны слышал, как он поет. Таким было начало новых связей и отношений.

Если говорить о дальнейшем, то писатель есть писатель, и, когда ты чувствуешь интерес к твоим книгам, это возбуждает у тебя дополнительный интерес к твоим читателям. Для меня очень дорого и психологически очень важно, что немецкие читатели читают мои книги на такую непростую — и для них, и для меня — тему, как минувшая война.

Дело в том, что такой кусок жизни, как эта война, хотя связь тут, как говорится, не самая лучшая, но все же это общий кусок истории для нас и для немцев. […]

КРИСТА ВОЛЬФ. Бывают ли у вас проблемы, конфликты — у вас как у политического деятеля, — о которых вы не должны писать, не считаете возможным писать? Не потому, что как писатель не можете совладать с материалом, а потому, что вам кажется, что писать об этом вредно, либо потому, что, по вашему мнению, написанное вообще не может быть опубликовано в данный момент, — словом, что-то вроде самоцензуры.

КОНСТАНТИН СИМОНОВ. Конечно, были. Мне кажется, здесь стоит провести водораздел между романом и вообще между чисто художественным произведением и, скажем, дневниковой книгой или мемуарами. В случае с романом я сразу принимаю решение — или я его пишу, или не пишу. А с книгой мемуаров дело сложнее. Например, сейчас я пишу воспоминания об Александре Твардовском. После его кончины прошло не очень много времени. Большинство тех, о ком я вспоминаю, еще живы, еще активно работают. У меня собственное, сугубо личное отношение к многим проблемам и к многим людям, о которых идет речь в мемуарах. И хотя я записываю все по порядку, я уже заранее твердо решаю выбрать для публикации только то, что в данный момент считаю возможным, морально оправданным. Остальное я опускаю, пусть пока полежит. Я очень боюсь таких воспоминаний, где человек одно пишет на бумаге, а другое оставляет «на потом», в голове. Я сторонник воспоминаний, где человек пишет подряд все, что считает нужным написать, зная, что он не все из этого напечатает.

КРИСТА ВОЛЬФ. Касаясь литературы моей страны и моего поколения: меня не покидает ощущение, что самые важные события — внутренние и внешние, — самые важные решения и конфликты, определившие наше развитие и уже почти три десятилетия подряд нас волнующие, весьма слабо отражены или совсем не затронуты в нашей литературе. Хотелось бы знать, у вас такое же ощущение?

КОНСТАНТИН СИМОНОВ. Да. У меня тоже есть, например, ощущение, что нам бы надо пошире написать, скажем, о драматических для нас предвоенных событиях тридцать седьмого, тридцать восьмого года, думаю, много объясняющих в последующем, особенно в поражениях начального периода войны. Об этом надо писать больше и подробнее, чем до сих пор. Причем главная проблема, по-моему, заключается в том, чтобы писать об этих годах не только с позиций людей, которых посадили в лагеря и подвергли чудовищным репрессиям. Надо написать всю картину

времени и общества. В этой картине должна присутствовать и драма людей, не понимающих, что происходит. Но в этой картине должна быть показана и индустриализация страны в обстановке ожидания войны с фашизмом, которая вот-вот должна начаться. И ощущение надвигающейся с запада войны, в то время как у нас на восточных границах люди уже по три года сидят в окопах, ожидая нападения японцев. А одновременно со всем этим — полеты через Северный полюс. А одновременно со всем этим — Испания, советские добровольцы, Интербригады, взрыв интернационалистических чувств и значение всего этого в жизни каждого из нас.

Вот если бы дать весь этот конгломерат! Тогда все нашло бы свое место. Таких сочинений о том времени пока что у нас не хватает. И ощущение необходимости их появления у меня лично все усиливается. Может быть, и я, когда закончу с войной, возьмусь за книгу о том времени.

КРИСТА ВОЛЬФ. По-моему, это было бы очень важно. Вы как писатель-коммунист, дисциплина и чувство ответственности которого отличны от дисциплины и чувства ответственности буржуазного писателя, не считаете ли опасным, что порой вы слишком далеко заходите в самоцензуре? Не ощущаете ли вы опасности, что пишете лишь то, чего от вас ждут, и, возможно, видите лишь то, чего от вас ждут? Что уже неспособны видеть и ощущать свежо и непосредственно, а ведь это и есть предпосылка любого творчества?

КОНСТАНТИН СИМОНОВ. Мне кажется, что я, в общем, довольно здраво смотрю на вещи, вижу реальность жизни и какой-то особой, суживающей избирательности в наблюдениях у меня нет. В то же время, конечно, с внутренней собственной цензурой мне приходится иногда бороться. Потому что сам иногда думаешь и колеблешься — надо ли об этом сейчас или не надо? Поможет это или не поможет установлению правильного взгляда на те или иные проблемы?

[…] Хочу добавить к тому, что я сказал в ответ на ваш вопрос о нас и немцах, что мне, без преувеличений, кажется, что историческое соседство наше с немцами заставляет нас все время думать друг о друге. И у меня такое ощущение не только от многих поездок в ГДР, но и от последних поездок в ФРГ, что этот интерес взаимен и весьма серьезен. Трудно представить себе будущее Европы, исключив из своих размышлений то, что связано для нас в нашем прошлом, в том числе в военном прошлом, с немцами, а для немцев с нами. Политические контакты могут быть те или другие, о них могут писать больше или меньше, но наш взаимный интерес — величина постоянная, исторически

обусловленная и имеющая будущее…

КРИСТА ВОЛЬФ. Для нас, для моего поколения, вопрос об отношении к русским возник гораздо позже, чем для вас — к немцам. Не только потому, что вы старше, но и по другим причинам. Насколько могу припомнить, само слово «русский» возникло для меня только в начале войны против Советского Союза, причем как обозначение страха. Русские — это устрашающая карикатура в газетах и на плакатах, весьма опасная порода людей, стоящая значительно ниже немцев. Первыми живыми русскими, которых я увидела, были военнопленные и перемещенные, мужчины и женщины. И только после войны, когда в небольшой мекленбургской деревушке, где я работала конторщицей у бургомистра, мне пришлось иметь дело с офицерами и солдатами советских оккупационных войск, только тогда русские стали для меня конкретностью. Трудно поверить, как много требуется времени, чтобы абстрактное представление о другом народе — пусть сперва как о пугале, пусть позже как об идеале — стало наконец живым, обрело разные лица, наполнилось отношениями, много для тебя значащими. Это долгий, к тому же переменчивый процесс, после множества разного рода встреч возникло новое, как мне теперь кажется, близкое к действительности отношение к русским, к русскому народу, к Советскому Союзу; и этот опыт вообще занимает в моей жизни одно из самых важных мест и (необязательно как некий «материал») чрезвычайно важен для моей работы. […]

КОНСТАНТИН СИМОНОВ. Как всякий человек, получивший гуманитарное университетское образование, я знаком с немецкой классической литературой — с Лессингом, с Гёте, Шиллером… Меньше с немецкими романтиками; из них прочел от доски до доски, пожалуй, только Гофмана. У Гейне для меня большее значение имела его проза, чем его стихи, может быть, еще и потому, что — боюсь это сказать, ибо его переводили у нас первостатейные переводчики, — все-таки в моем ощущении Гейне еще не нашел у нас такого переводчика, какого, скажем, в лице Маршака нашел Бёрнс. В новой немецкой литературе для меня самым важным писателем был Брехт. Я читал все, что переведено на русский язык, — пьесы и прозу, статьи и стихи. Дальше всего я от его стихов, потому что они опять-таки или не переведены, или вообще непереводимы, я не воспринимаю их непосредственно чувством, для меня они прежде всего ум, острота этого ума, почему-то в данном случае облеченные в стихотворную форму. А в общем, у Брехта я люблю все, с первого чтения он заставлял меня думать и заставляет думать и до сих пор над многими важными для меня вещами; кстати сказать, однажды, в сорок

шестом году летом, я в течение нескольких часов сидел и разговаривал с Брехтом. Я был в это время в Соединенных Штатах, в Голливуде. Мы вместе завтракали у меня с Брехтом и Фейхтвангером. Фейхтвангер был для меня человеком, чьи романы я в юности читал с огромным интересом и к которому относился с большим уважением. Брехт оказался какой-то вспышкой света, какой-то шаровой молнией ума, остроумия, обаяния. Таким мне запомнилось это единственное свидание с ним.

Романы Ремарка, которыми у нас зачитывались очень широко в пятидесятые годы, мне тоже нравились, я не был исключением среди большинства русских читателей. Но они не заслонили для меня «На Западном фронте без перемен», который все равно в моем сознании остался лучшей книгой Ремарка, даже неким верстовым столбом, от которого идут многие отсчеты и взад и вперед в европейской литературе двадцатого века.

Эрнст Буш в моем сознании не только удивительный певец, но и явление, связанное со всей немецкой антифашистской поэзией, а эта антифашистская поэзия в свою очередь связана для меня с представлением о немцах, с оружием в руках сражающихся против фашизма и на земле Испании, и не только там. Вспоминая встречи с Бушем, я вспоминаю весь накал немецкой антифашистской поэзии, вспоминаю Бехера, вспоминаю Вайнерта, думаю о Стефане Хермлине, думаю об Анне Зегерс, которую глубоко люблю и за ее книги, и за нее самое, за то, какая она сама прекрасная и благородная. […]

Думая о немецких писателях, анализирующих возникновение фашизма, и его бытие, и его последствия, не могу под свежим впечатлением не сказать о том, как сильно заинтересовала меня в самое последнее время новая книга Генриха Бёлля «Групповой портрет с дамой».

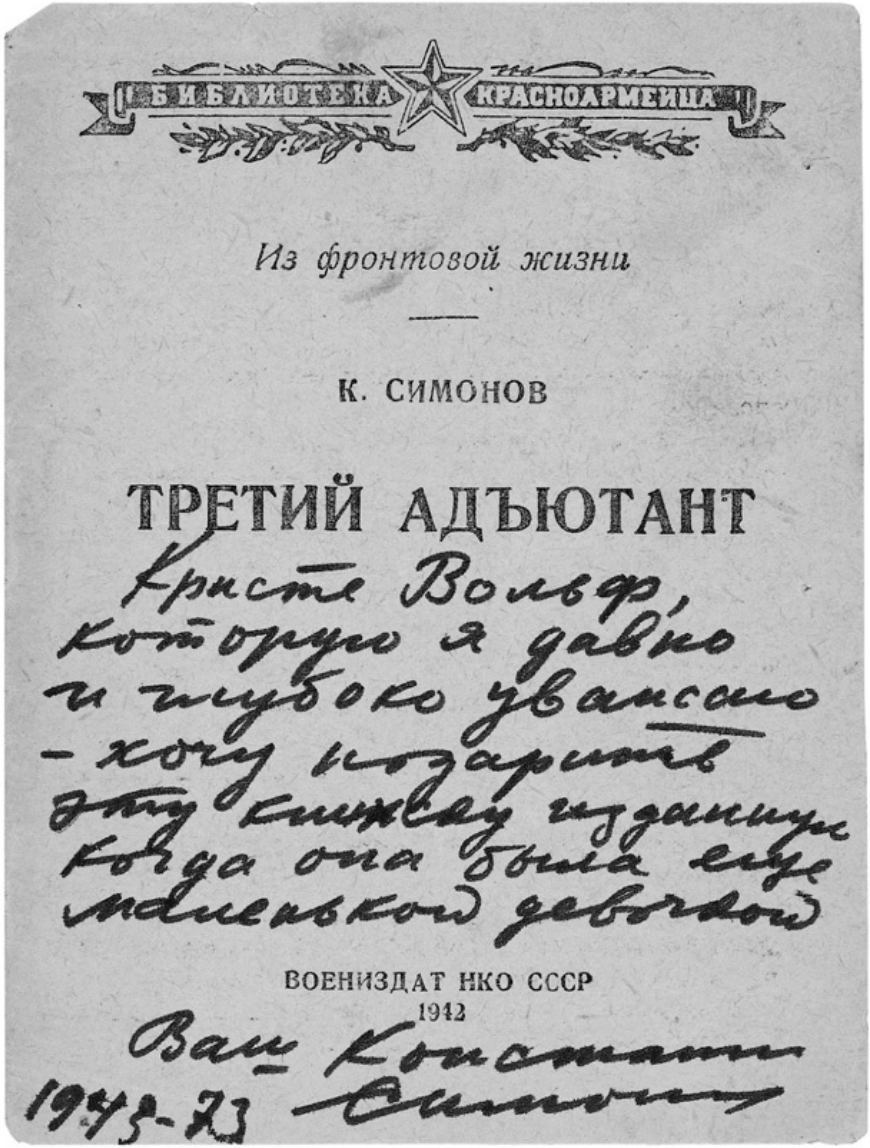
По моему личному убеждению, это не только лучшее из всего, что написано Бёллем, но и серьезная пища для размышлений, данная миллионам читателей, и вовсе не только немецких. Непримиримость к фашизму облечена в этом романе в форму такого сложного и глубокого аналитического повествования, которое заставляет думать над этой книгой, и чисто профессионально для меня составляет предмет глубокого интереса то, как она построена; по каким-то законам, во многом новым, возведено это удивительное литературное здание.

КРИСТА ВОЛЬФ. Если хотите, ответьте мне еще на один, последний и, может быть, назойливый вопрос: существует ли для вас своего рода опасность славы? Существует ли что-нибудь, что делаешь или не делаешь, чтобы не рисковать этой славой —

популярностью, к которой, возможно, уже и привык?

КОНСТАНТИН СИМОНОВ. Трудно отвечать на вопрос о славе писателя или о его популярности без притворства. Лучше вообще на него не отвечать. Но, как говорили у нас в старину, перекрещусь и все-таки прыгну в воду. Опасна ли слава или ее синоним — популярность? По-моему, ответ может быть только один: конечно, опасна. Разумеется, писатель, сознавая, что его широко читают, должен больше многих других людей думать о том, как вести себя, должен с большей чуткостью относиться к возможности обидеть, задеть другого человека, должен привыкнуть к постоянному самоконтролю. Я думаю, со всем этим легче справиться, когда продолжаешь работать, продолжаешь писать, а не живешь на проценты с написанной когда-то давным-давно книги. Вообще, когда много работаешь, остается меньше времени думать о другом, в том числе о собственной славе или собственной популярности. В этом еще одно преимущество постоянной работы. Трудно ли отказаться от своей популярности, если уже привык к ней? Должно быть, трудно, и если эта дилемма требует определенного шага, который зависит от самого писателя, то наверняка нелегко решиться на такой шаг.

И наконец: разве мы сами не содействуем каким-то образом собственной популярности, хотя бы время от времени? Мы то и дело именно так поступаем, порой сознательно, порой бессознательно. И в этом смысле я, вероятно, тоже не составляю исключения.


БИБЛИОТЕКА КРАСНОАРМЕЙЦА
Из фронтовой жизни
К. СИМОНОВ
ТРЕТИЙ АДЪЮТАНТ
Кристе Вольф, которую я давно и глубоко уважаю - хочу подарить эту книжку издания, когда она была еще маленькой девочкой
ВОЕНИЗДАТ НКО СССР
1942
Ваш Константин Симонов
1943-73

Посвящение на обложке книги Константина Симонова «Третий адъютант» (1942)

Криста Вольф. Четверг 27 сентября 1973 г. Кляйнмахнов, Фонтанештрассе: визит Юрия Трифонова

[…] Гостиница «Унтер-ден-Линден», звоним в номер Юрию Трифонову, он приходит. Я иду в туалет, служительница сидит на табуретке в углу, просит каждого не закрывать дверь. В вестибюле стоят Герд и Юрий, я его узнала. Вширь раздался, говорит Герд. (Сегодня он говорит: «сбросил», запомнил его более худым и подвижным.) Юрий простужен, мы идем в аптеку напротив, берем ему таблетки от горла, капли в нос, аминофеназон. Едем. Уже в машине спрашиваем, как прошел коллоквиум (тема: «Конфликты в жизни — конфликты в литературе»). Он только смеется. Я говорю, что слыхала, он был лучшим. Ну, тогда он представляет себе, каковы были остальные.

По дороге сразу же заходит разговор о том, что с недавних пор в Москве перестали глушить определенные западные радиостанции.

Поехали мы в «Эрмелер-хаус», приятная тишина, прохлада, сквозняк, почти до конца мы единственные посетители в своем зальчике. Все официанты во фраках. Обслуживает нас молодой человек с детским лицом и детскими локонами. Заказываем телячье жаркое, Герд — что-то экзотическое из утятины. (Через 1,5 часа начинаем зябнуть.) Под конец омлетики с ананасом, которые готовятся и фаршируются прямо на столе. За все про все (коньяк, водка, сок) 90 марок.

Разговоры за столом: обмен информацией о Солженицыне и Сахарове (мы согласны, что, выступив с обращением к чилийской хунте, по поводу Неруды, Сахаров навредил себе, расписался в политической наивности. С другой стороны, Трифонов говорит: Сахаров и его жена сделали огромное дело, так много привели в движение). Говорим о том, что Трифонов написал за последние годы: три повести, исторический роман о русских террористах прошлого века, все это выйдет здесь. О том, как его сбежавший кузен — Демин, — который выпустил на Западе книгу и работает на «Radio Liberty»[28], начисто лишает его возможности съездить на Запад. О том, кто подписывает воззвания против Солженицына, касающиеся Нобелевской премии: преимущественно секретари Союза, к числу которых, увы, принадлежат Айтматов и Быков. Но зачем это понадобилось старому, полумертвому Катаеву? — спрашиваем мы себя. Трифонов цитирует открытое письмо некой женщины

(Чуковской?) против этих подписантов, которых она с момента подписания объявляет «покойниками»… Говорим, позднее, и о второй книге Мандельштам («Столетие волков»), которую Трифонов, несмотря на некоторые несправедливости касательно иных людей, тоже считает «большой книгой». (Как и «Шестой день творения» Максимова.) «Двойной портрет» Каверина он оценивает не так высоко: слишком «литературный». И находит неправильным, что Каверин написал старой больной Надежде Мандельштам грубо отрицательное письмо по поводу ее второй книги. (Впечатление, что Трифонов один из тех, кто «прорвался» и усвоил манеру поведения, которая позволяет им жить, покуда сохраняя от разрушения их внутренний стержень.) Позднее, уже у Аннетты и Райнера, он рассказывает о своем конфликте: стоит ли ему после снятия Твардовского продолжать публиковаться в «Новом мире». Через год он это сделал. Твардовский его понял, другие критиковали.

За столом он рассказывает и о своей новой жене («хорошая баба»), она тоже литератор, живут они на две квартиры, и его дочь (21 год) не принимает эту новую жену. Все очень сложно. Ей бы лучше выйти замуж, но с этим опять-таки ничего не получается.

Еда вкусная, атмосфера в ресторане слишком эксклюзивная и безжизненная, нам бы следовало выбрать заведение попроще. Тр. рассказывает о недавно созданном комитете, определяющем политику в области переводов. Бунин вошел в этот комитет. «Неясный» человек. Тр. дает юмористические оценки. Об одном из участников коллоквиума говорит: Пустышка, ноль целых ноль десятых. (Я поправляю: Ноль целых одна сотая.) О процессе против Якира и Красина: результат равен нулю (я: минус 100), потому что не было западных корреспондентов.

Едем к детям, промерзли насквозь, греемся в машине. Аннетта в ржаво-красном свитере, выглядит хорошо, «душевно». Сперва советуемся насчет Яны: не начался бы у нее еще и кашель (правда, при нас она не кашляет). Я спрашиваю себя, не выражается ли в этом сопротивление маленького тельца против яслей. В 10 часов, когда девочке надо дать пенициллин, забираем ее в большую комнату. Она просыпается с трудом, но не плачет, как обычно. Только смотрит строго.

На стене новая картина Германа: автопортрет с картонным носом. Хорошо, но, по-моему, несколько чересчур прямолинейно. Из фотографий, полученных в наследство от бабушки, Райнер повесил на стену два фотомонтажа в старинных рамах. Старинный, весьма красивый стул стоит теперь в углу. Быстро завариваем чай. Ром мы тоже прихватили с собой. Юрий из-за

своей простуды выглядит плоховато. Сперва разговор идет о кино. Аннетта рассказывает, что только что видела по телевизору репортаж с похорон Неруды, тысячи людей шли за гробом, толпы народа на тротуарах. Многие плакали. Кричали: Да здравствует Альенде, да здравствует Unidad Popular![29] Пели «Интернационал». Она под большим впечатлением.

Позднее передаем из рук в руки несколько не самых новых номеров «Шпигеля», я зачитываю несколько фраз о Габриеле Воман, она уже двадцать лет замужем за учителем, который на шесть лет старше ее, и он спокойно говорит: «Под мужьями в своих книгах она не всегда имела в виду меня…» Далее, напечатан материал адвокатов группы Баадера — Майнхоф[30], о «пытках» в тюрьмах ФРГ. (Одиночные камеры, недостаточно питья при голодовке.) Все выдержано в нарочито грубом тоне: «Верховная федеральная свинья Мартин» и т. д. Увы, только пожимаешь плечами, потому что невольно думаешь о тех, кого пытали по-настоящему. Трифонов интересуется западным телевидением (в Москве он смотрит только спорт. Дискутируется вопрос, может ли московская команда поехать в Чили на матч-реванш и поедет ли). Как раз передают репортаж о новых мерах по оздоровлению польской деревни и польского сельского хозяйства. Напрасно мы ждем чтения «Манифеста» Павла Когоута, который он передал Австрийскому радио. Трифонов устал, и в 11.30 мы уезжаем, отвозим его в гостиницу. Он говорит о Райнере и Аннетте: «Симпатичные молодые люди». Я: «Хорошо, когда дети остаются друзьями».

Лев Копелев. Образы правды О романе Кристы Вольф (1988)

…ибо правда распространяет свет на все стороны.

Гёте

I

Эпиграф к роману «Образы детства» Кристы Вольф — стихотворение из «Книги вопросов» Пабло Неруды. Начинается оно строфой:

Где мальчик, которым я был, —
Во мне еще или ушел?[31]

Первая строка первой главы гласит: «Прошлое не умерло. И даже не прошло. Мы отторгаем его от себя, отчуждаем».

Роман развертывается в трех «грамматико-психологических» измерениях: ОНА, ТЫ и Я. И притом в разных измерениях пространства и времени: ОНА — Нелли Йордан — присутствует во времени с 1929 по 1947 год. ТЫ и Я — с июля 1971-го по 1975-й, до конца последней страницы книги. ОНА, девочка Нелли, в пятнадцать лет покидает в феврале 1945 года родной город Л., преследуемая страхом, гонимая паникой. ТЫ в июле 1971-го с мужем, братом и пятнадцатилетней дочерью Ленкой едешь из Берлина (ГДР) в «Л. — ныне г.», в Польшу, в тот город, где когда-то жила Нелли, идешь по ее следам, вспоминаешь о ее-твоем детстве и юности, о ее-твоих родителях, родных, друзьях, знакомых… И вновь и вновь становишься Я. Но трехмерным роман кажется лишь беглому взгляду. Мало-помалу открываются все новые измерения, все новые сокрытые глубины.

Девчонки из Союза немецких девушек в белых форменных блузках с черными галстуками выстроились шеренгой на лугу, на линейку. Командир отделения «с ее рыжеватыми кудряшками, сильными очками, курносым носишкой и плетеным аксельбантом» читает стихотворение Анаккера:

С великим Мы объединилось Я
Как часть машины и ее движенья;
И не в существованье, а в с л у ж е н ь е
Отныне видит ценность бытия[32].

Нелли переписала себе этот текст. Воспринимала его как символ веры. В ту пору она лишь смутно и мучительно ощущала то, что поняла много позднее: «чтобы не погибнуть в этих жерновах, надо было сделать выбор между двумя взаимоисключающими видами морали».

Этот выбор между моралью человечности — личной моралью — и бесчеловечной моралью безличного МЫ, воплощением которого может быть государство, церковь, партия, казарма, превосходило и превосходит по сей день не только силы пятнадцатилетней девочки. Разделение на три лица, однако, не просто стилистический элемент, определяющий структуру этого самобытного повествования, и уж тем более не следствие болезненного «расщепления личности» автора. Напротив, как раз в этом своеобразном «триединстве» особенно отчетливо видно развитие ее писательской личности; вновь подтверждается, что живое развитие всегда еще и «единство и борьба внутренних противоречий». «Обожженной рукой я пишу о природе огня». Эта строчка Ингеборг Бахман — эпиграф к восьмой главе «Образов детства». Нелли не знала, как трудно «писать о себе», и писательница Криста Вольф не скрывает ни от себя, ни от читателей, как это трудно. Оттого-то, наверно, и скачк*и* от Я к ТЫ и ОНА.

Отец Нелли, которого считали погибшим, был в плену. Лишь спустя долгое время его письмо окольными путями добралось до семьи. После многолетней разлуки он возвращается: ужасно постаревший, изголодавшийся и одичавший. […]

«Нелли не понимает, что живет она не в те времена и не в тех местах, где поэт писал о днях и личности и ставил после своего дерзкого заявления восклицательный знак. Нелли мерит едва не умершего с голоду отца не той мерой».

…Счастлив мира обитатель
Только личностью своей[33].

Нелли этого еще не знала. Но автор знает; знает и какие силы не желают предоставить обитателям мира это счастье, знает, как она — Нелли, — как ты и я подчинились этим силам и что, возможно, мы по сей день еще недостаточно сильны, чтобы им

противостоять.

Меньше чем на трех страницах изображена отчужденность дочери и отца. Всего лишь несколько сцен, фрагменты, но обрисованные четко и ясно: рассказчица держится на заднем плане — от стыда и боли, которых, однако, не может скрыть даже горькая самоирония.

В феврале 1945 года Нелли рассталась с родительским домом, с городом, где родилась и выросла, а тем самым рассталась и с детством. Спустя четверть века она возвращается. На несколько дней. Вновь видит свою давнюю родину, которая стала для нее-тебя чужбиной; теперь это родина других людей, говорящих на другом языке, живущих другими воспоминаниями. Многим сотням тысяч, даже миллионам людей пришлось и приходится в нашем столетии покидать свою родину. Память о прошлом для многих безутешное горе, неисцелимая боль. Иные из тех, кому пришлось бежать, кто был изгнан, по-прежнему испытывают бессильную ненависть к своим гонителям — большинства которых уже нет в живых — и слепую ненависть к новым обитателям, никоим образом не виноватым в изгнании. Напротив, воспоминания, поэтически воссоздаваемые в «Образах детства», свободны от всякой ожесточенности, проникнуты печалью, но и стремлением понять события, их причины и следствия. В этом «Образы» сродни книгам Йоханнеса Бобровского и Гюнтера Грасса. А по своей гуманной сути особенно близки книге совершенно другого жанра — историческим наброскам и воспоминаниям графини Марион Дёнхофф «Имена, каких никто уже не называет». […]

В пятнадцать лет Нелли со своими близкими бежит от Советской армии, от «русских», которые вот-вот возьмут ее родной город, которые уже разрушили ее мир — веру, в какой она выросла.

«Русских она в жизни не видала. О чем она думала, говоря „русские“? О чем думала Нелли? Что себе представляла? Кровожадное чудовище с переплета „Преданного социализма“? Кинокадры с толпами советских военнопленных — наголо стриженные головы, изможденные, равнодушные лица, одежда в лохмотьях, драные портянки, шаркающая походка, — они вроде и сделаны-то были из иного теста, чем бравые немцы-конвоиры? Или она вообще ничего себе не представляла? Может, ее готовности к страху было достаточно того смутного ужаса, каким веяло от мрачно-загадочного слова „насиловать“? Русские насилуют всех немецких женщин — неоспоримая истина. […]»

В «Образы детства» вплетено множество различных тем и проблем. Разбирательство автора со своим прошлым и

настоящим, с окружающим миром и с самою собой многогранно и основательно. Как детям и родителям понять друг друга? Как передать опыт одного поколения другому? Как найти общий язык, если старшие и младшие выросли в разные эпохи, в принципиально различных условиях? […]

Дочери Ленка и Рут — наряду с Нелли, ТЫ и Я — четвертый энергетический полюс в силовом поле художественного осмысления человеческих судеб, «заместительный» для всех молодых людей, к которым обращена эта книга.

Нелли пыталась противостоять убожеству послевоенного времени; но семнадцатилетней девушке все эти трудности и невзгоды были не по плечу. Она заболела легочным туберкулезом. Целую осень и зиму проводит в лечебнице. Там не хватает врачей, лекарств и еды. Ее окружают обреченные на смерть, умирающие, но и выздоравливающие; она пытается помочь некоторым из них, в первую очередь детям. Живет бок о бок, глаза в глаза со смертью, с неутолимыми страданиями и напрасными надеждами. У нее много времени, чтобы наблюдать, размышлять и читать.

Там, в лечебнице, она впервые осознает, как много значат книги, стихи. Открывает для себя Гёте. Никогда прежде она не читала так много и с таким увлечением.

«Она не говорила об этом, но порою думала, что для того-то и заболела. (Большая часть стихотворных строк, которые ты знаешь наизусть, запомнилась Нелли как раз в те годы. „Из ароматов утра соткан и из света / Покров поэзии — дар истины поэту“»[34].

Эти строки Гёте могли бы стать эпиграфом к всему творчеству Кристы Вольф.

II

[…] История детства и юности Нелли в Третьем рейхе, в войну и после войны — одновременно история настоящего и вечная драма взаимопонимания и непонимания родителей и детей, старших и младших и вечно нового столкновения Я и Мы.

Генрих Бёлль писал об автобиографии писателя Манеса Шпербера, которому тоже пришлось ребенком покинуть родину:

«[…] это вечная дилемма меж историчностью и безысторичностью: поселиться в том и в другом невозможно, время не родина, и все же мы знаем, что современность, наблюдение и претерпевание времени есть наше единственное местожительство, нетерпение в настоящем, которого словно бы и нет, суть которого словно бы мимолетность: мимолетные, в

поисках родины, на этой земле и в это время, недоверчивые к будущему, куда постоянно подталкивает нас секундная стрелка».

Это тоже могло бы стать эпиграфом к «Образам детства». Криста Вольф пишет решительно, спонтанно — так непосредственно и так естественно, как человек дышит. И все же всегда раздумчиво, всегда осознанно — зная, почему и для чего она это делает. […]

Но она сознает также, какими возможностями располагает современный писатель: «Для психики современного человека такая ситуация является обыденной: он ощущает относительность времени, на какой-то срок перестает воспринимать его как нечто объективное и делает вывод, что мгновение может растягиваться чуть ли не до бесконечности и что оно чревато огромным количеством многослойных возможностей переживания, тогда как пять минут продолжают оставаться все теми же скромными пятью минутами»[35].

Главное условие договора, который Фауст заключил с чертом: не пожелать, чтобы мгновение повременило, — Сергей Эйзенштейн назвал «центральной проблемой искусства и всей творческой деятельности человека XX столетия» […]. Криста Вольф признает, что мгновение бесконечно растяжимо. Притчу, какую Гёте разыгрывает в «горных ущельях» неземной, небесной сферы, она дерзает вновь разыграть здесь, на земле, в новом количестве и многослойности, не обещая разрешения. Но и для ее «расчетливости», а равно и для ее «безрассудности» справедливы те же силы, какие призывал Гёте: те, что «…одушевляются любовью, которая их создала», и «вечная женственность»[36].

III

В «Образах детства» прошлое неотделимо от настоящего, личная судьба — от судьбы народа, будничное — от сущностного, трудное развитие индивидуального самосознания — от драматической истории общественного сознания, и относится это не только к обществам, в каких жила и живет писательница.

Криста Вольф знает: «Чем ближе нам человек, тем труднее, кажется, вынести о нем окончательное суждение, это общеизвестно».

Великий русский мыслитель нашего столетия, Михаил Бахтин, исследовал поэтику Достоевского и при этом признал: «Живого человека нельзя в его отсутствие делать молчаливым объектом окончательного познания. В *человеке всегда есть что-то, что может объяснить только он в свободном акте*

самопознания и речи […]». [Курсив оригинала. — *Л.К.*]

Макс Фриш видит в этой закономерности основу подлинного искусства, развитие первой библейской заповеди: «Сказано: не делай себе кумира из Бога. В этом смысле должно бы также сказать: Бога как живого в каждом человеке, того, что непостижно».

Потому и для меня невозможно сказать что-то окончательное, завершающее о писательнице, которую я уважаю и которой восхищаюсь, и о книге, которая стала для меня близким другом.

Тем не менее попытаюсь объяснить, что, собственно, так притягивает меня в этой книге. Что можно определить как основной тон ее полифонии, как важнейшую роль ее многомерного драматизма?

Русского читателя она впечатляет также близостью традициям русской автобиографической и исповедальной эпики, напоминая книги Александра Герцена, Льва Толстого, Владимира Короленко, Максима Горького.

«Образы детства», поэтический и правдивый документ прошлого, есть в такой же мере книга настоящего, как и будущего, ибо связи между вчера, сегодня и завтра — часть жизни всякого человека и всякого народа, озабоченного своим будущим.

> Былое жаром обдает,
> Его касайся осторожно.
> Оно докажет непреложно,
> Что наше время тоже жжет[37].

В тяжкое время своей жизни Нелли Йордан открывает для себя поэзию Гёте. Эта поэзия стала одним из источников творчества Кристы Вольф. В «Образах детства» отчетливее, чем в других ее книгах, замечаешь, что Гёте, наверно, значит для нее больше любого другого из ее литературных образцов или учителей — от Генриха Кляйста до Анны Зегерс. Конечно, она не пытается подражать Гёте, прямо следовать ему. Но как в ее четко осознанном, философски обобщающем мировоззрении, так и в непосредственно художественном поэтическом мироощущении проступают вечно юные гётевские качества: жажда знания и способность вновь и вновь удивляться многообразию мира. «Я, и сам как мир меняясь, к изумленью призван здесь»[38].

Гётевская у нее и искренность, неукоснительная верность правде. «Все законы и нравственные правила можно свести к одному — к правде». — «Вредная правда, тебя предпочту я полезным обманам. Правда врачует печаль, что возбудила сама»[39].

Криста Вольф способна воспринять даже тончайшие нюансы душевных движений, невысказанные и не додуманные до конца мысли — свои и чужие — и точнейшим образом рассказать о воспринятом, со всеми подробностями. Порой она напоминает Льва Толстого, его стремление к беспощадной правде в изображении и в самоанализе. Но прежде всего она самобытна, самостоятельна, во всем, что и как пишет.

В последней главе романа она повторяет вопрос — первую строку эпиграфа: «Где мальчик, которым я был?»:

«Девочка, что пряталась во мне, — вышла ли она наружу? Или, вспугнутая, отыскала себе еще более глубокое и недоступное укрытие? Сделала ли память свое дело? Или она ушла на то, чтобы обманом доказать, будто нельзя избегнуть смертного греха нашего времени, а грех этот есть нежелание познать себя».

Она не пытается ответить на эти вопросы. Это непозволительно и невозможно. Ее честно признанная неуверенность существенна для правдивости, для «открытости» книги. Она побуждает читателя размышлять и думать дальше, участвовать в мыслительных процессах автора и ее личности. Но читателю позволено и возможно попытаться ответить: Да, ребенок жив! Да, память исполнила свой долг!

Девочка не могла исчезнуть. Неисчерпаемая, детски наивная непосредственность столь же присуща писательнице, как и ее взрослая, спонтанно-эмоциональная и одновременно осознанно рефлексирующая материнская любовь — и вся эта «вечная женственность». Роман посвящен дочерям автора. Одна из дочерей участвовала в поездке. Ее суждения, ее понимание и непонимание, ее пронизанные печалью, насмешкой и гневом наблюдения, ее справедливые и несправедливые оценки образуют один из полюсов напряженности, одно из измерений романа, одну из все новых «разверзающихся бездн».

В одной из дискуссий по поводу своей книги Криста Вольф очень четко определила, почему и зачем хотела ее написать: «[…] возникновение страха одна из центральных проблем этой книги. […] „Целая глава страха…“ — […] все те страхи, что ужаснейшим образом были нам внушены. Например, страх перед другими народами. „Русский“ в качестве фигуры устрашения — как это вообще было возможно, как этого добились? И еще: каким способом истребляются такие вот конкретные страхи. Страх перед людьми — народами, группами — исчезает, когда с ними знакомишься. […] Отчего столь многие у нас лишь со страхом восстают против авторитетов, отчего им так трудно явить „храбрость пред лицом тиранов“?[40] Ведь есть же причины. Потому я и считаю, что это книга о современности, ибо она

пытается заодно рассказать, что было прежде, до того как люди стали вести себя так, как сейчас. […]

[…] литература… по-моему, она воздействует сильно, но таким подспудным образом, что измерить ее влияние весьма трудно.

[…] как мы стали такими, каковы мы есть? Вот к чему я, собственно, и пытаюсь подойти поближе. […] Ведь, по-моему, многое из того, что наше поколение делает сейчас или не делает, еще связано с детством»[41].

«Образы детства» — образец многомерной поэтической правды, рассказанной и воссозданной искренней, мудрой и печальной женщиной, которая воплощает в своем творчестве животворящее противоречивое единство: она одновременно ребенок и мать, писательница и философ. Детскость и женственность не отрицают, а усиливают зрелость и «андрогинную» мудрость исторической философии автора. Субъективная художественная правда ее изображения, ее языка, ее чувств и ее мыслей определяет объективную историческую правду и — vice versa — определяется ею. Самопознание писательницы есть одновременно познание прошлого и настоящего ее родины.

Восьмая поездка. 1981 г. В Москву, 1–5 декабря 1981 г.

* * *

Вторник, 8 дек. 1981 г.

1–5 дек. — поездка в Москву. Перед тем грипп, из-за чего пришлось отложить отъезд еще на день: может быть, просто сдвинутый в телесное знак моих внутренних колебаний. Расплата: ночь в аэропорту — Москва обледенела и не принимала рейсы. Хотя это было известно с 7 утра, наш самолет, Ту-144, вечером около половины шестого, хотя и с опозданием, прошел таможенный досмотр (в 17.55 он должен был взлететь). Шок, когда, войдя в транзитное помещение (лучше сказать: в транзитные помещения), мы обнаружили там сотни ожидающих, некоторые сидели уже 12 часов. Временами обращения к определенным рейсам — приглашения «в закусочную»: там выстраивалось тогда человек 200, чтобы получить поднос со стейком, картофелем и бутылочкой колы или пива. Наш самолет не кормили, в том числе и когда Игорь, представитель «Аэрофлота», «указал», что надо это сделать: зато дважды вызвали другой рейс. Вообще поведение Игоря: великая держава обращается к взбудораженным колониальным народам. Кульминация: некий молодой человек пожелал узнать, как он проведет ночь. Какую ночь? — несколько раз бесстрастно переспросил Игорь. Разве он сидит под дождем и на ветру? Дважды получил питание, так? Ну вот. Он вправду не понимал или хотел продемонстрировать, что наши бо-бо даже до лап русского медведя не достигают? Так все и было, главное впечатление: индивид стоит немного.

Герхард Вольф о восьмой поездке

Об этой короткой поездке, состоявшейся в первую очередь для того, чтобы прояснить, как в дальнейшем будет обстоять с переводами книг Кристы Вольф, записи, к сожалению, отсутствуют. Пометки в календаре Кристы свидетельствуют, что в аэропорту нас встретила Лидия Герасимова, что поселились мы в гостинице «Советская» и хотели повидать прежде всего друзей и переводчиков. В Институте иностранных языков им. Мориса Тореза Криста читала свое эссе «Уроки чтения и письма», вышедшее по-русски еще 1979-м в томе «Избранное» наряду с «Расколотым небом», «Размышлениями о Кристе Т.» и такими рассказами, как «Июньский вечер», «Унтер-ден-Линден» и др. В издательстве «Радуга» мы имели продолжительную беседу с проф. Александром Гугниным (р. 1941). Речь шла о публикации перевода «Образов детства», которую он был вынужден отклонить, поскольку Красная армия — «единственно прочное, что у нас есть», — показана там неподобающим образом.

Вечером 2 декабря мы встретились с Ириной Лазаревой на квартире Евгении (Жени) Кацевой (1920–2005), которая уже много лет занималась Францем Кафкой, Максом Фришем и другими немецкоязычными авторами XX века, переводила их и боролась за них. В этом смысле она стала для нас важнейшим партнером, и мы дружили с ней вплоть до ее смерти. Женя и после воссоединения часто выступала с Кристой на чтениях и беседах, однажды на диспуте с Эгоном Баром в Вилли-Брандт-хаусе в Берлине.

4 декабря Криста Вольф, при посредничестве посольства ГДР, выступила перед приблизительно 30 гостями немецкого отдела СЭВ (Совета экономической взаимопомощи); после обеда мы побывали в редакции «Иностранной литературы», вместе с переводчиками Альбертом Карельским (1936–1993) и Михаилом Рудницким (р. 1945) и опять же Тамарой Мотылевой, явно главным критиком по части немецкой литературы.

По весьма удачному стечению обстоятельств на сей раз мы встретились в Москве с Ральфом Шрёдером (1927–2001), славистом, которому обязаны не только знакомством с «Мастером и Маргаритой» Михаила Булгакова (рус. 1966/67, нем. пер. 1968), романом, какой Криста Вольф ценила больше всех русских книг. Шрёдер привез замечательному переводчику на немецкий, Томасу Решке, нецензурированное, еще не опубликованное в Москве издание этой книги. Шрёдер дружил с Юрием Трифоновым и Владимиром Тендряковым (1923–1984), на дачу к которому мы

ездили в тот день, чтобы с ним познакомиться. Тендряков, как он нам сказал, писал проект программы реформ для Юрия Андропова, тогдашнего шефа секретной службы, а позднее генерального секретаря КПСС. Ральф Шрёдер, который, проведя как «троцкист» много лет в заключении, сотрудничал с госбезопасностью ГДР, писал о «Жизни Клима Самгина» Горького и переправлял в Берлин новые тексты, например Трифонова, зачастую еще до их публикации в Москве, чтобы выступить в их поддержку. В итоге это ему удавалось, как в случае Тендрякова и «Белого парохода» Чингиза Айтматова, не только с переводами, но и с ловко сформулированными послесловиями; они позволили опубликовать в ГДР книги, о которых в Советском Союзе велись критические дискуссии.

Ральф Шрёдер с Юрием Трифоновым в издательстве «Фольк унд вельт». Середина 70-х гг.

Девятая поездка. 1987 г. В Москву и Ригу, 5–25 июня 1987 г.

* * *

Возерин, 2 июля 87 г.

Из Москвы вернулась с бронхитом, отсюда лишь вялый разбор почтовых завалов, лишь нерешительное и вялое начало работы. Приходилось принимать бурлецитиновую микстуру.

Последствие Москвы: нерешительная надежда. Надо бы воспроизвести итог поездки в голосах и в лицах. Высказывания: Если все-таки снова откат назад, будет хуже прежнего. Необратимо ли это — я не знаю. Но это последний шанс. — Для писателей и публицистов теперь хорошее время — другие пока от перестройки мало что замечают. — Сверху и снизу хотят перестройки — но в промежутке толстый ватный слой. Поборись-ка с ватой! — Вдруг оказывается, все было плохо, но ведь это была наша жизнь. Что же, все выбросить?! (Лидия). — То, чего хочет Горбачев, конечно, разумно. Но сумеет ли он пробиться. — Мы, тридцатилетние, отпадаем. Нас слишком часто обманывали (Таня Ст.). — Городское партийное руководство в Москве с Ельциным сидит как в крепости, осажденное областным руководством (Рудницкий). — Все на нас валится разом — будто открыли форточку и теперь сыплют на нас все до сих пор скрытые истины. — Раз ничего уже не запрещено, все вылезает на поверхность: собрание, и народ думает: как все теперь замечательно. На следующем содрогается: в какой я, собственно, стране? (Намек на «Память» [радикально-националистическая группировка с 1987 г.] и ее антисемитизм: во всем виноваты сионисты и масоны!) — На пленуме Московского союза Бондарев говорит: На нас идут культурварвары, хотят разрушить нашу древнюю русскую культуру. Мы в ситуации 43-го года: если вскоре не случится Сталинград, мы погибли. — Еще кто-то обвинил новых главных редакторов, которые печатают теперь давно запрещенные рукописи, в «некрофилии». Против этого протест на собрании Союза. Телеграмма Лихачева: 1. Некрофилия — бессмыслица. 2. Наша главная задача — покаяться.

В Союзе поляризация, силы посредственности, опасающиеся за свои доходы, бросаются на сторону реакции. Карпов, ставший председателем, по-настоящему не писатель, но, пожалуй, «честный человек». Союз в целом весьма консервативен. «Зато у нас есть хорошие главные редакторы». Один из них: Бакланов. Обед с ним в клубе. Оставляет впечатление человека усталого и заработавшегося, ироничного, решительного без иллюзий и

восторгов: в этом отличие здешней перестройки от тогдашней пражской. А еще в том, что она идет сверху: можно ли декретом назначить демократическую позицию? Тревожит мысль, что все это может оказаться слишком поздно. Что 70-летнее угнетение живых сил убило слишком многое, чего уже не оживишь. Неопределенная позиция молодежи. Лямку тянут 55–65-летние. Пока, разумеется, совершенно без ответа вопрос о смысле жизни: поиски до сих пор идут в религиозном русле — например, в грузинском фильме «Покаяние».

Говорят даже об Афганистане — в фильме «Легко ли быть молодым?», сделанном в Риге. Потрясающие картины отсутствия перспектив у молодежи — которое, конечно, одним только изменением экономических структур не устранишь. В целом: банкротство прежней формы социализма. «Болото», «маразм», так говорят. Нынешние 50–60-летние знают, что уже не увидят плодов «нового». Женя: «Если все останется, как сейчас, я уже довольна».

Возникают огромные дискуссии вокруг проекта памятника Великой Отечественной войне на окраине Москвы.

В Риге: цветы жертвам сталинизма у статуи Свободы в центре города.

Маленькая квартирка Нины Федоровой, переводчицы моих «Образов детства», на окраине Москвы. Год назад у нее умер муж. Ее лицо, потухшее изнутри. Сын, который после двух курсов медицинского института должен идти в армию. Страх матерей, что сыновья попадут в Афганистан. На защите младшего сына Карельского мать, потерявшая в Афганистане сына, произнесла патриотическую речь…

Гостиница «Россия» как кафкианская система. Целый спектакль, если хочешь там поесть, но не принадлежишь к «группе». Остров зажиточности, непристойно. Огромные автобусы, привозящие и увозящие американцев, западных немцев, англичан, итальянцев.

Однажды в ресторане, большой стол с пожилыми людьми (русскими), все крестьянского вида, грудь в орденах, явно отмечали годовщину начала гитлеровского нападения на СССР: Как они относятся к перестройке? Вообще замечают ее? Она вообще вышла за пределы Москвы?

Единственный исконный работяга, мостящий Красную площадь.

По-прежнему сложности в торговой системе.

Приходишь в гости, всё есть — за большие деньги куплено на колхозных рынках.

Очереди в винные магазины, где торговля начинается с 14

часов.

Радость, когда приносишь вино (из магазина «Березка»).

Процессия к Новодевичьему кладбищу воскресным утром.

Отличный спальный вагон первого класса в Ригу.

Переводчица Таня, которая далеко не сразу признается, что «замужем за нашим соотечественником» и сейчас с ним разводится. Как многие девушки, не может расстаться с родителями.

Отсталость в сексуальных вопросах (никакого просвещения детей на сей счет!), таблетки принимают редко, много абортов. Все отыгрывается на женщинах, которые терпят свою судьбу…

Огромные дискуссии между нашими друзьями, евреями и неевреями, об истоках антисемитизма в народе. Наконец выясняется: простые люди думают, что революцию устроили евреи…

Полная летаргия у Стеженских, которые больше ни на что не надеются: только усталость. Живут в своей квартире с семьей младшей дочери. Ирина сходит с ума…

Браки дочерей большей частью складываются неудачно, похоже, поколение, не очень-то приспособленное к жизни («приобретенная беспомощность»).

Тщетная попытка попасть в музей Маяковского.

В гостиницах тоже больше нет давних толстух-дежурных: довольно молодые женщины, некоторые немного говорят по-английски.

Уход от требований взросления в более детские фазы.

Одни ввиду потока «гласности» говорят: «Я уже сыт по горло…» Другие по пять часов в день читают газеты и журналы.

Педагогика, медицина, юстиция тоже не остаются в стороне.

Всеобщая амнистия по случаю 70-летия Октябрьской революции.

Арбат: пешеходная зона. Уличные художники-портретисты. Молодые ребята исполняют брейк-данс на импровизированной сцене. Милиция медленно проезжает мимо.

Многие, кажется, все-таки догадываются: это последний шанс. Как они боялись за Горбачева, когда он уезжал в Индию.

Кое-где начинают смещать руководство.

Отрицательное отношение к эмигрантам. Ст. [Стеженский] подозревает Коп. [Копелева] в работе на КГБ…

Рига. Странная смесь знакомого и чужого, а еще печаль: немецкий город без немцев. В Латвии 2 млн жителей, вероятно, половина из них — русские. Весь город в цветах, мы приехали к празднику Лиго, летнему солнцестоянию. Девушкам, которых называют Лигами, дарят березку, на следующий день юношам,

которых называют Янисами, — дубовый венок. Букеты луговых цветов, маргаритки, травы, васильки. Рынок. Бывшие эллинги для цеппелинов. Старый город (масса польских ресторанчиков). Вид с колокольни церкви Петра. Памятники. Крестьянский музей под открытым небом. История совсем рядом, рукой подать. Рукописи Бёлендорфа в Центральном архиве. Поездка в Юрмалу на побережье Балтики. Широкий песчаный пляж. Писательский дом отдыха: огромный. Продолжение праздника с коньяком на веранде у [xxx], где я наверняка простужусь. Ему предложили открыть частное издательство. Даже он, скептик, надеется, что перестройка необратима. Один его сын — милиционер. Второй — кинорежиссер. Лосось. Медовуха.

Хёпке на коктейле в посольстве (оно переехало в похожее на крепость представительское здание на окраине города). В издательстве «Радуга»: любезно, на русском языке, вполне на стороне перестройки.

Также и Гугнин, который когда-то объяснял мне, почему «Образы детства» нельзя у них опубликовать… Рудницкий: «Ты очень изменился!»

Спор переводчиков о названиях моих книг. Нерасположение к Каринцевой, переводчице «Аварии».

У страны словно вынули душу. Русские в поисках своей души — на Западе сказали бы: своей идентичности. Таков глубинный исторический процесс под перестройкой. Если опять останется только прагматизм, ничего не выйдет.

В самолете на пути сюда, в предвкушении книги Вирджинии Вулф «Волны», у меня возникла идея касательно «Летнего этюда»: десятью годами позже некоторые из встречающихся в тексте персонажей обеспечивают дополнение: «Голоса». Высказываются по поводу лета десятилетней давности.

Сон, в Риге: властелин, которого я во сне называю «сатрап», облаченный в роскошные одежды, возлежит на роскошных подушках и, смотря по настроению, все время меняет одежды. Когда он влюбляется, в смуглую женщину с прической на пробор, которую я вижу как тень на заднем плане, он велит менять ему одежды в соответствии с постоянно меняющимися любовными настроениями — и, хочешь не хочешь, признает, что это невозможно. Тогда он сбрасывает все свои покрывала и одежды, а при этом кричит: «Почему я должен защищаться одеждами от себя самого?»

Статуя Свободы в Риге

Герхард Вольф о девятой поездке

Календарь Кристы Вольф наряду с ее итоговыми записками фиксирует ежедневные встречи. В Москве, где нас принимали тамошний Союз писателей и Криста Тешнер, атташе по культуре посольства ГДР, мы впервые побывали на коктейле в новом здании посольства.

В последующие дни мы встречались прежде всего с переводчиками Михаилом Рудницким и Инной Каринцевой (1920–1994) в редакции «Иностранной литературы», обсуждали в издательстве «Радуга» повесть Кристы Вольф «Авария» и дали интервью журналу «Вопросы литературы». В Министерстве иностранных дел отвечали сотрудникам на вопросы по современной немецкой литературе, а в Библиотеке иностранной литературы им. Рудомино у Кристы состоялись чтения. Григорий Бакланов (1923–2009) из журнала «Знамя» во время нашего с ним обеда сообщил о будущей публикации перевода «Образов детства», который был напечатан в № 6–9 за 1989 г. и в том же году вышел отдельным книжным изданием. Мы разговаривали с Владимиром Стеженским, Женей Кацевой, Тамарой Мотылевой и находились под огромным впечатлением от символически антисталинистского фильма «Покаяние» (1984/87) грузинского режиссера Тенгиза Абуладзе. Ожесточенные конфликты, которые — вызванные горбачевской перестройкой — прокатились в обществе, нас очень занимают.

22 июня мы поехали в Ригу, где нас принимал германист и литературовед Юрис Кастыньш (р. 1946); он показал нам прежде всего достопримечательности красивого старинного ганзейского города. Я знал об оригинальных рукописях Казимира Ульриха Бёлендорффа (1775–1825), хранящихся в Литературном музее Риги, и теперь мог их увидеть. В моей книге «Бедный Гёльдерлин» (1972) я цитировал их косвенно, через одну из биографий.

Состоялась пресс-конференция для журналистов и германистов; с писателями мы поехали в писательский дом отдыха на Балтике, а 25 июня через Москву вернулись самолетом в Берлин.

Переводчики Альберт Карельский и Нина Федорова, в центре Евгения (Женя) Кацева

На следующий год после этой поездки документалист Карлхайнц Мунд запланировал телепередачу о Москве, где участвовали и переводчики Кристы Вольф Женя Кацева, Альберт Карельский и Нина Федорова. Отрывки тогдашних записей воспроизведены ниже.

Отрывки из беседы переводчиков Нины Федоровой и Альберта Карельского с Евгенией (Женей) Кацевой (1988)

КАЦЕВА. Каждый из нас определенным образом связан с Кристой Вольф, и у каждого к ней свое отношение. Нина Федорова, германист и редактор издательства «Радуга», связана с Кристой Вольф благодаря переводу самого крупного ее произведения — «Образов детства». Профессор Карельский в последнее время переводил произведения, связанные с романтизмом, и писал о них. Хотя я довольно давно знакома с Кристой Вольф — не дерзну сказать: дружу, — до сих пор я лишь чуточку играла роль серого кардинала, так как недавно составила книгу для серии «Художественная публицистика»[42], с «Франкфуртскими лекциями» и другими текстами.

КАРЕЛЬСКИЙ. […] Я с большим интересом прочитал оба эссе о романтиках, о Каролине и Беттине, и, разумеется, повесть «Нет места. Нигде». Мой интерес обусловлен тем, что я читаю в университете лекции о немецком романтизме, и, когда мне предложили перевести эти эссе на русский, я сразу же согласился. Меня завораживает то, как Криста Вольф воспринимает и трактует романтизм… в ее эссе романтизм жив, это не давняя история двухсотлетней давности, но наша современная история […]. В ГДР до сих пор много говорили о классике, о Гёте, Шиллере, а романтизм оставался на заднем плане… Но что романтизм так современен, что он затрагивает самое живое в современности, открыла в ГДР, по-моему, писательница Криста Вольф, а не литературоведы.

ФЕДОРОВА. …Когда я прочитала книгу «Образы детства», я сразу подумала о том, о чем мы думали десятки лет, но не могли говорить. Это проблема сталинских репрессий, проблема насилия при коллективизации и проблема войны. Все они находят свое место в этой книге.

Книга — мозаика, однако в итоге она складывается в целостность, в полную картину мира, увиденную как глазами взрослой женщины, так и глазами юного существа. И все это сплавляется воедино. Неслучайно она говорит в этой книге: когда ТЫ и ОНА совпадают в одном Я. Эти проблемы много значат для нас, для меня лично: быть может, о них рассказывается с другой точки зрения, с точки зрения немки, но это проблемы общечеловеческие. Когда Криста Вольф, например, пишет о концлагерях, о которых позднее никто якобы знать не знал, хотя

газеты писали, что такого-то числа был открыт лагерь Дахау, — ведь и у нас было так же. Я не имею в виду конкретные вещи. Но саму историю, ведь было множество проблем, которые вытеснялись, все о них знали, но говорить не могли, хотели забыть, сделать вид, что их не существует. Теперь наконец-то пришло время, когда о них можно говорить, и я снова и снова вспоминаю те страницы книги, где Криста Вольф пишет о московском друге, которого уже нет в живых, профессоре-историке, который в письме написал ей, что настанет время, когда можно будет говорить обо всем, только вот он до этого времени не доживет.

Нет, книга ни в коей мере не дидактична. И перевести ее на русский было нелегко. Коротенькие юмористические эпизоды детства, истории с братом, подружками, матерью… они совершенно реалистичны, выхвачены из жизни. И каждый пережил нечто подобное. А рядом чисто философские проблемы — проблемы современности, человеческой памяти, воспоминаний, как справляются с этими воспоминаниями не только победители, но и побежденные.

КАЦЕВА. У нее есть все, все краски и оттенки: ирония, самоирония, все есть… Юмор совершенно своеобразный, даже в «Аварии» присутствует юмор […].

Хочу затронуть весьма щекотливую тему — терпимость. Несколько писателей из ГДР приезжали сюда и побывали в журнале «Иностранная литература», где как раз вышла «Кассандра», и мы были так рады, так счастливы показать немецким гостям из ГДР, какие мы молодцы. «Кассандру» мы опубликовали очень быстро — и что же мы слышим? Зачем вы это сделали? Эту книгу не следовало переводить, и вообще, Криста Вольф, и так далее, и так далее. Разве так можно? Нет, нельзя, так не годится, но и у нас так поступают… Еще несколько слов об «Образах детства». В журнале, где я работаю, в «Вопросах литературы», мы неоднократно писали о литературе ГДР, и конечно же каждый раз упоминалось имя Кристы Вольф. Но странным образом мы почти не писали об «Образах детства», не потому, что так хотелось авторам, [а] потому, что мы хитрили. Ведь иначе возник бы вопрос: раз вы так хорошо пишете об этой книге, почему же она не опубликована? Так что лучше о ней вообще помалкивать…

КАРЕЛЬСКИЙ. Я бы хотел сказать еще несколько слов на тему искренности […]. В Кристе Вольф меня завораживает […] то, что я бы назвал полной самоотдачей. Не могу себе представить, чтобы Криста Вольф, например, искала за работой оригинальную метафору или меткий синоним либо эпитет. Это не ее проблема…

Она пишет, потому что размышляет и размышления происходят у нас на глазах и потому что речь всегда идет о жизненно важных вещах, будь то фашизм и война в «Образах детства» или атомная угроза человечеству в «Аварии». У нее все и всегда всерьез, она, собственно, не пишет, а размышляет на письме. Рядовой читатель может подумать, что это особая хитрость, особая современность языкового выражения, но и здесь есть разница. Другие современные авторы, те, кого мы называем современными, играют своим текстом, своими писательскими возможностями. Но для нее главное не в том, чтобы выразиться по-особенному.

ФЕДОРОВА. Да, в «Образах детства» особенно ярко заметна эта манера письма, когда она размышляет и одновременно пишет. Одно слово, быть может помысленное совершенно случайно, способно «запустить» длинный рассказ, поэтому в текст воткано, вплетено так много ассоциативных историй.

КАЦЕВА. Искренность, это верно. По-моему, это качество присуще всему творчеству Кристы Вольф, и именно оно делает ее произведения особенно привлекательными, в том числе и для нас. Она пишет без предрассудков. Пишет без нашего пресловутого внутреннего редактора, внутреннего цензора…

Десятая поездка. 1989 г. В Москву, 9–14 октября 1989 г.

* * *

Москва, 9–14 окт. 89 г.

Шереметьево. Встретили меня Борис Калинин (Союз) и Криста Тешнер (посольство). Долго в ужасной толчее ждали багажа. В вестибюле к нам присоединяются «две девушки»: Катя и Лиза. Первая из «Иностранной литературы» (занимается там скандинавской литературой, смуглая, кудрявые, черные, коротко стриженные волосы, армянское имя: Катарина Мурадян), вторая — моя переводчица, просто «Лиза» (студентка германистики, 4-й курс, год училась в ГДР, замужем за студентом-математиком, 50 рублей стипендии, что недостаточно, не думает, что после учебы сумеет найти подходящую работу, наивная, и больше ничего). Долго-долго стоим возле аэровокзала у шоссе, Борис исчез, 30 минут ищет писательскую машину, потом оказалось, она стояла «вон там, далеко позади». Первые впечатления вновь — всеобщая бесцеремонность на выдаче багажа и т. д., как и вообще, уже в Шёнефельде в гуще толпы (туристических групп), которая регистрировалась на эр-бас, ощущение, что чем дальше на восток, тем больше личность исчезает в толпе.

Поездка вчетвером в «Украину», первая информация: в магазинах ничего не купишь, талоны на сахар (1 кг в месяц на человека, что очень много. Лиза: У нас дома уже 14 кило, мама покупает все, вдруг на будущий год понадобится для варенья, бабушка говорит, если опять будет голод, сахар можно на что-нибудь выменять). Да, недовольство у людей растет (Борис: Но пока у них еще хватает терпения), я рассказываю о событиях в Берлине — массовое бегство, оппозиционное движение, демонстрации, аресты. Борис: Но чего люди хотят?! (Этот вопрос будет потом повторяться снова и снова.) Я: Гласности! Он: У нас есть гласность, но нечего есть. Давайте поменяемся. (Вот по чему узнаёшь здешних людей: готовы ли они променять гласность и демократию на продукты питания.)

В «Украине» Борис опять исчезает, очень надолго. Появившись снова: Должен извиниться от имени Союза, нам надо в другую гостиницу. Я: Нет номеров? Борис: Нет. Это у нас перестройка! Будто раньше все всегда было в порядке. Едем в Союз писателей. Шофера останавливает милиция, просит выйти из машины, предупреждает. Вернувшись, он говорит: Ах, почему мы не пристегнулись, и добавляет кое-что еще. Я: Так давайте пристегнемся! — хватаюсь за ремень, с заднего сиденья громовой

хохот: ремня нет. — «Это же перестройка!» — Шофер, у которого ремень есть, тоже не пристегивается, как и все прочие водители после него.

В Центральном доме литераторов ходим по лабиринту столовых и залов, свободных мест нигде нет. Все это вообще не литераторы, сердито говорит Катя, сажает нас в большом фойе за столик в углу, приносит «вино» (ужасное!), кофе (такой же) и бутерброд, мы едим и пьем. Появляется Борис: есть номер в «Будапеште». Позднее Женя говорит, что Бёлль не хотел жить ни в каком другом отеле, но сейчас там наверняка запустение, однако в номере чисто, спокойно, вполне приемлемо. Ближайшая большая улица — Неглинная. Гостиница на Петровке, в северной части центра. В номере телевизор, но, клянусь, для него нет розетки. На подоконнике транзисторный приемник, вилка у него погнута и ни в одну розетку не войдет. Дежурная в течение всего моего пребывания даже бровью не ведет, минеральная вода якобы есть в буфете на втором этаже, но воды там нет, только «сок», сладкий, и, по крайней мере, «пиво». Я пью «кефир».

Сперва звоню г. [Герду], он говорит, Аннетта после ночи под арестом чувствует себя пока не особенно, накануне вечером аресты еще продолжались, о Буцмане по-прежнему ни слуху ни духу. Потом звоню Жене, договариваюсь приехать к ней этим же вечером, очень долго стою на Неглинной, прежде чем удается поймать такси. У нее нет ничего, кроме чая и конфет, да я и не голодна, но у нее есть только хлеб. Позднее выясняю, что ее дочь, которая разошлась с мужем, готовит для них обеих, раз в неделю ходит на рынок, где все жутко дорого: мясо, творог, сыр, овощи. Яйца, масло, хлеб покупают в магазине. Она в очередях не стоит. Вечером обходится чашкой крепкого кофе.

Мы говорим о делах в ГДР, прикидываем, с кем можно об этом потолковать, Т. [Топер] сейчас в отъезде, за границей… Женя говорит: у нас тут теперь свой фашизм, журнал «Современник» [«Наш современник», литературно-художественный и общественно-политический журнал] выступает с пропагандой гнусного антисемитизма, люди боятся «гражданской войны», улучшения экономического положения не предвидится, под Ленинградом якобы стоят поезда с овощами и другими продуктами питания, дальше их не пропускают, все гниет, национализм зашкаливает, Азербайджан не пропускает поезда с помощью жертвам землетрясения в Армении, а если что-то пропускают, например сборные дома, то все оказывается разбито в щепки. Нет, никакого решения проблем не предвидится. Горбачев не тот сильный и последовательный человек, каким казался поначалу, но альтернативы нет, ни ему,

ни гласности и перестройке. Мы делаем еще несколько звонков по телефону, подыскиваем фотографии для Жениного сборника эссе, у подъезда она ждет со мной такси, дома у нее не топлено, именно сейчас надумали чистить отопительные трубы, на улице тоже холодно, в итоге она нехотя позволяет мне в одиночку уехать на «частнике», я забываю сразу же ей отзвонить, сперва принимаю горячий душ, потом она звонит мне совершенно вне себя: боялась, что со мной что-то случилось (хотя демонстративно записала номер машины), женщина здесь в одиночку на улицу уже не выходит, преступность невероятно возросла. Как-то вечером, когда мы из театра Ленинского комсомола на улице Чехова идем пешком в гостиницу и я советую Лизе поехать домой на такси, она говорит мне, что не любит ездить одна в такси, мало ли что может случиться.

2-й день

Жду не меньше 20 минут, пока один из 5–6 официантов, что на периферии большого колонного ресторана в «Будапеште» обслуживают столики завтракающих, обращает на меня внимание. Заказываю какое-то блюдо, в названии которого фигурирует слово «яйца», это глазунья из трех яиц на сковородочке, сверху студенистая, чай, кефир.

Жду Лизу, она звонит, говорит, что машины в Союзе пис. нет, она приедет на метро. Я звоню в посольство, чтобы Криста Тешнер, культуратташе и советник посольства, не приезжала в «Украину» слишком рано. Погода приятная, на Неглинной мы в конце концов все-таки ловим такси. Тешнер уже на месте, наши старания перебронировать мой обратный рейс с понедельника на субботу, не имели бы успеха, не попытайся Тешнер от имени посольства действовать через знакомого ей местного шефа «Люфтганзы». Стало быть, отпускаем Лизу, едем на черном лимузине по Ленинскому проспекту к роскошной современной крепости, которая, как и в первый раз, мне не нравится. Но протокольные помещения весьма недурны. Кофе с печеньем в одном из этих (небольших) помещений, в глубоких креслах цвета старой розы. Сухой московский воздух. События на родине — посольство как отражение тамошних течений. Появляется даже один из советников, заместитель посла Кёнига, находящегося в Берлине, на торжествах в честь ГДР. Он тоже считает, что самое время осуществить дома изменения. Причем самое-самое время. (Позднее Кр. Тешнер удивляется.) Человек как с картинки модного журнала. Вскоре ему предстоит ехать на Волгу, чтобы

возложить венок к памятнику Максу Гёльцу.

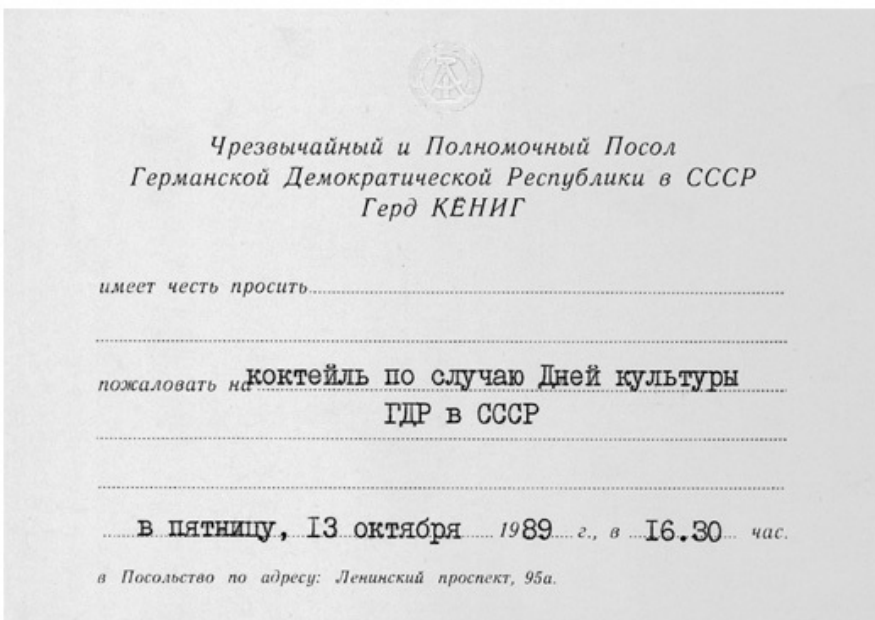
Обедаю с ними в столовой посольства, узнаю, что только в (соседней) торговой миссии работает 800 сотрудников, подают суп из бычьих хвостов, салат с жареным рыбным филе, яблоко. Иду с К.Т., которая просит разрешения называть меня по имени и в этой связи повторяет афоризм: «По заслугам и честь!» — к главному входу, ох уж эти инструкции по безопасности, в посольстве за систему безопасности отвечают всего 8 (или 20?) человек, каждый, кто забудет запереть хоть одну дверь или унесет ключ домой, будет писать бесконечные объяснительные записки; подъезжает машина, отвозит меня в гостиницу, ложусь, читаю журнал «Советская литература» с записками Симонова — как члена комиссии по Сталинским премиям — о его встречах со Сталиным и в следующие дни тоже читаю об этом, не знала, насколько зависим был Симонов. Текст сухой, без блеска, не вникает в причины собственной зависимости.

В 18.30 [за мной] заезжает Женя, она крепко меня держит, но она сокровище, вчетвером едем на машине одной из сотрудниц от нее к Ирине Млечиной, которая работает в Институте мировой литературы и написала хорошую рецензию на «Образы детства» (опубликованные в этом году в 6 номерах «Знамени»[43] [литературно-художественный и общественно-политический журнал]). (Автомобиль такой же, как и все московские автомобили — кроме служебных машин начальства более-менее высокого звена, — разболтанный, рычаг скоростей скрипит, подвеска гремит и дребезжит, лихо катим по разбитому асфальту улиц.) Один из высоких домов, по-моему 60-х годов, восьмой этаж, внизу консьержка. Дом из тех, куда с улицы можно войти, только набрав на замке код; из, вероятно, большой квартиры я вижу только две комнаты, переднюю без окон, оливково-зеленые кресла, книги, круглый столик, телевизор, гостиную-столовую с такими же креслами у журнального столика и обеденным уголком со стульями. Разговор тотчас заходит о «скверном положении, в каком мы находимся» (Советский Союз). Ирина говорит, что ситуация сейчас как у нас в конце Веймарской республики, в 1932-м, говорит Женя, я отвечаю: Вы что же, считаете, что произойдет захват власти? Ирина говорит: Вполне возможно. Криста, я боюсь. Это у нее постоянная присказка. Видимо, ее душит неизбывный страх перед новой диктатурой, особенно перед репрессиями против евреев, вплоть до погромов. Она еврейка. Приводит множество примеров, как «наши фашисты» открыто заявляют в «Нашем современнике», что (снова-здорово) евреи сделали революцию, евреи убили нашего мягкого, великодушного царя, евреи вынудили русских стать пьяницами,

потому что хотят уничтожить русский народ; если снабжение еще ухудшится, начнутся националистические бунты, а эта искра запалит еврейские погромы. (Женя подтверждает эти факты, но смотрит в будущее не так пессимистично, как Ирина.)

14.10.89

Прием в пос. ГДР, Москва, по случаю Дней культуры ГДР. Дюкк представляется, говорит, что рад со мной познакомиться. Он живет в одном доме с Бригиттой Циммерман. Сейчас, мол, в ГДР настали важные дни, есть решение Политбюро, начался диалог, они-то уже давно его начали, а кроме них, лишь немногие газеты («Дер морген», «Вохенпост»), у других — смесь запрета и трусости, ссылается на статью Канта, которую они опубликовали; да, сейчас самое время кое-что основательно изменить…



Чрезвычайный и Полномочный Посол
Германской Демократической Республики в СССР
Герд КЕНИГ

имеет честь просить .....

пожаловать на коктейль по случаю Дней культуры ГДР в СССР

в пятницу, 13 октября 1989 г., в 16.30 час.

в Посольство по адресу: Ленинский проспект, 95а.

Приглашение на коктейль

Гофман: тоже очень рад видеть меня, в ГДР сейчас сложные времена. Я: Мы справимся? Он: Справимся, если не прольется кровь. (В разговоре с Женей он пренебрежительно отзывается о Х. [Эрихе Хонеккере], мол, совершенно закоснел, цитирует А.З. [Анну Зегерс]: Когда осел стареет, он все равно остается старым ослом; говорит о предстоящих переменах, пророчествует: Что бы вы ни услышали обо мне в ближайшее время, всегда думайте, что

я остался таким же, как раньше.) Уверяет, что Х. [Хонеккер] ввиду ожидаемой речи Горб. [Горбачева] уже держал такую речь… г. [Ганс-Йоахим Гофман]: у них состоялся очень интересный 2-часовой разговор с Роем Медведевым, ужасно жаль, что подобного разговора не было 7 лет назад, «тогда бы мы не вели себя перед вами настолько по-идиотски!» (Жене). К.Х. [Курт Хагер] демонстративно идет ко мне через весь зал, здоровается: Мне теперь говорить тебе «вы»? Я: Пока нет. Он: Надеюсь, вообще никогда. (Я стою с тарелкой салата и стаканом сока в руке, который один из двух помощников Х. [Хагера] забирает у меня и держит, пока я не беру его назад…) В ГДР сейчас очень напряженная сит., но он надеется, что напряженность потихоньку начинает слабеть, прежде всего благодаря действиям нескольких смельчаков в Лейпциге (об этом мне, не так подробно, уже рассказал Гофман): Мазур (дирижер оркестра Гевандхаус), трое секретарей окружного руководства и один священник взяли это дело в свои руки. Днем по городскому радио распространили информацию, что ОР [окружное руководство] готово к переговорам, что демонстрация пройдет без насилия, и все это на улицах встретили аплодисментами, затем четверка отправилась к традиционной заутрене в церковь Св. Николая, там начался диалог, все это подействовало настолько успокаивающе, что демонстрация (без малого стотысячная!) прошла мирно, хотя кое-кто и рассчитывал на перестрелку. То есть положение сейчас, вероятно, мало-помалу разряжается. Но сделать нужно многое. Политбюро заседало целых 2 дня, очень критично обсудили все сферы: экономику, информационную политику, возможности выезда за рубеж, культуру… На пленуме ЦК теперь будут открыто говорить обо всех этих аспектах и необходимых переменах, он считает этот момент поворотным для ГДР и, как и я, полагает, что надо использовать потенциал, который имеется сейчас для сотрудничества, у него на столе огромная стопка писем, все союзы деятелей искусств и театра и т. д. высказались очень четко, а из всех писем найдется, пожалуй, разве что два, где сквозит антигэдээровская позиция, да и у их авторов, пожалуй, точка зрения изменится, если с ними поговорить. В последние недели он участвовал во многих дискуссиях, в том числе на предприятиях, и рабочие тоже говорили, что хотят сохранить ГДР, но критиковали недостатки снабжения, нерегулярность в подвозе сырья и т. д., а это ведь совершенно нормально… (!!) В последние годы мы ведь тоже мало говорили друг с другом, он не знает, как это вышло (!!), но теперь намерен устраивать у себя по средам что-то вроде встреч, где можно будет обмениваться информацией (!), маленький круг, человек 12, он уже спросил Мазура, тот готов

участвовать, и вот теперь спрашивает меня, готова ли я.

Я упоминаю жестокую полицейскую акцию в Берлине, которая затронула и мою дочь, он говорит, что слышал об этом, я говорю: «Этого нельзя так оставлять. Виновных надо привлечь к ответственности, такого у нас быть не должно». Он более-менее соглашается, но говорит, что те, кто настроены на насилие, должны всегда понимать, что получат в морду, я говорю, что нельзя эту маленькую горстку валить в одну кучу со всеми и наседать на всех, он соглашается.

До того я еще сказала, почему все всё понимают с таким опозданием, по меньшей мере на полгода раньше до такого бы никак не дошло. Он: «Согласен, мы упустили время, но, если хочешь что-то изменить, надо сперва всех в этом убедить и хорошо обдумать последствия»; я говорю, что перемены могут прийти и слишком поздно, а он, что для них и без того явилось полной неожиданностью, что Венгрия вдруг откроет границы и множество граждан ГДР покинет страну…

Позднее подходит посол, Кёниг, только-только из Берлина, очень взволнован, да, необходимы глубочайшие перемены, ни в коем случае не косметические, он считает, перестройка в СССР уже необратима, невзирая на огромные проблемы.

Еще позднее то же самое говорит один из советников посольства, который опять-таки хочет непременно поздороваться со мной, когда я стою в обществе венгерского культуратташе, знакомого мне по Берлину [xxx], он рассказывает мне о течениях в венгерской партии. Нет, он не думает, что Венгрия откажется от социализма. Было уже невмоготу терпеть в партии столько течений, от ультралевых до правых, старый партсекретарь (Грос) сказал, что и он бы проголосовал за новую программу, только не за новое название. Он сам считает, что совсем неплохо, если в партии останется только половина членов, но вообще-то, судя по результатам голосования среди делегатов, наверняка будет больше. Он очень удивлен событиями в ГДР, 5 лет назад, когда уезжал оттуда, он бы никогда не посчитал такое возможным, сейчас нет ни одной социалистической страны без серьезнейших проблем… Я говорю: Нет, есть, Румыния. Он: Тут вы правы. У них вообще нет проблем. Я: Но вы, венгры, виноваты в наших проблемах, открывая границу. Он: Да, и за тридцать сребреников… Второй секретарь посольства: Недавно в беседе с Марше Горбачев сказал, что они переоценили политическую зрелость в Советском Союзе, неверно оценили проблемы национальностей, опоздали с анализом и принятием необходимых мер…

Когда я уходила, Гофман сидел на скамейке с двумя людьми,

они встали, чтобы попрощаться со мной, как раз только что решили создать Общество связей с советскими немцами. Я: Более настоятельных проблем у вас нет? У нас надо бы создавать совсем другие общества! г.: Да, но и это важно. Пиши! Я: Что мне писать, памфлеты или книги? г.: То и другое. Я: Только ведь этими памфлетами не похвастаешься! За зеркало не засунешь! г.: У нас зеркала нет. У нас только телевизор. Я: Придется на время его выключить! г.: Это каждый должен сделать сам… Очень хорошо, что ты была здесь.

Криста Вольф. Прощание с Москвой (2010)

Перед отлетом, в аэропорту Шереметьево, с тобой заговорила молодая женщина, на чистейшем саксонском. Они, хористы «Мадригала» из Халле, несколько недель ездили по Средней Азии, отрезанные от новостей из ГДР, может, тебе что-то известно о последних понедельничных демонстрациях в Лейпциге, ходят слухи о жертвах среди демонстрантов после стычек с силами безопасности, они тревожатся о своих родных и друзьях, не могла бы ты что-нибудь сказать. О да, ты могла. В минувший понедельник, 9 октября 1989 года, ты в полдень прилетела в Москву, ночью звонила домой, в тревоге о судьбе демонстрантов в Лейпциге, и услышала то, что можешь сейчас сказать: на улицу вышли сто тысяч человек, и ничего не случилось. И ты снова ощутила такое же счастье, какое сейчас испытывала эта молодая женщина, она обняла тебя и передала добрую весть другим хористам.

Пока вы, огромное количество путешественников, в том числе множество западных немцев, ждали в зале отлетов, по тихой команде у тебя за спиной построился хор и запел: «О ДОЛЫ, ХОЛМЫ, ДАЛИ», на несколько голосов, очень чисто, очень прозрачно, очень душевно. Ты единственная из всех слушателей понимала, почему они поют, и поневоле отвернулась, не в силах определить свое печальное и взволнованное ощущение. Здесь происходило не только прощание с Москвой. И позднее, в новом времени, когда тебя снова и снова с пристрастием допрашивали, что же, ради всего святого, было в этой закоснелой стране, чтобы проводить ее хотя бы одной слезинкой, что, кроме обломков и актов доносчиков, она могла принести с собой в великую, богатую и свободную Германию, — тогда ты порой невольно думала об этих минутах на аэродроме в Москве: Мы сейчас пели для вас. И о неприятно удивленных лицах западногерманских пассажиров, которые шепотом сообщали друг другу, откуда этот хор, а в конце восторженно аплодировали. Они наслаждались пением, подспудный болезненно-радостный тон они услышать не могли, а ты молчала, когда позднее к тебе приставали с вопросами и упреками.

В итоге возникла фраза: Мы любили эту страну. Невозможная фраза, которая, скажи ты ее вслух, не заслужила бы ничего, кроме насмешки и издевки. Но ты ее не произнесла. Оставила при себе, как теперь оставляешь при себе многое.

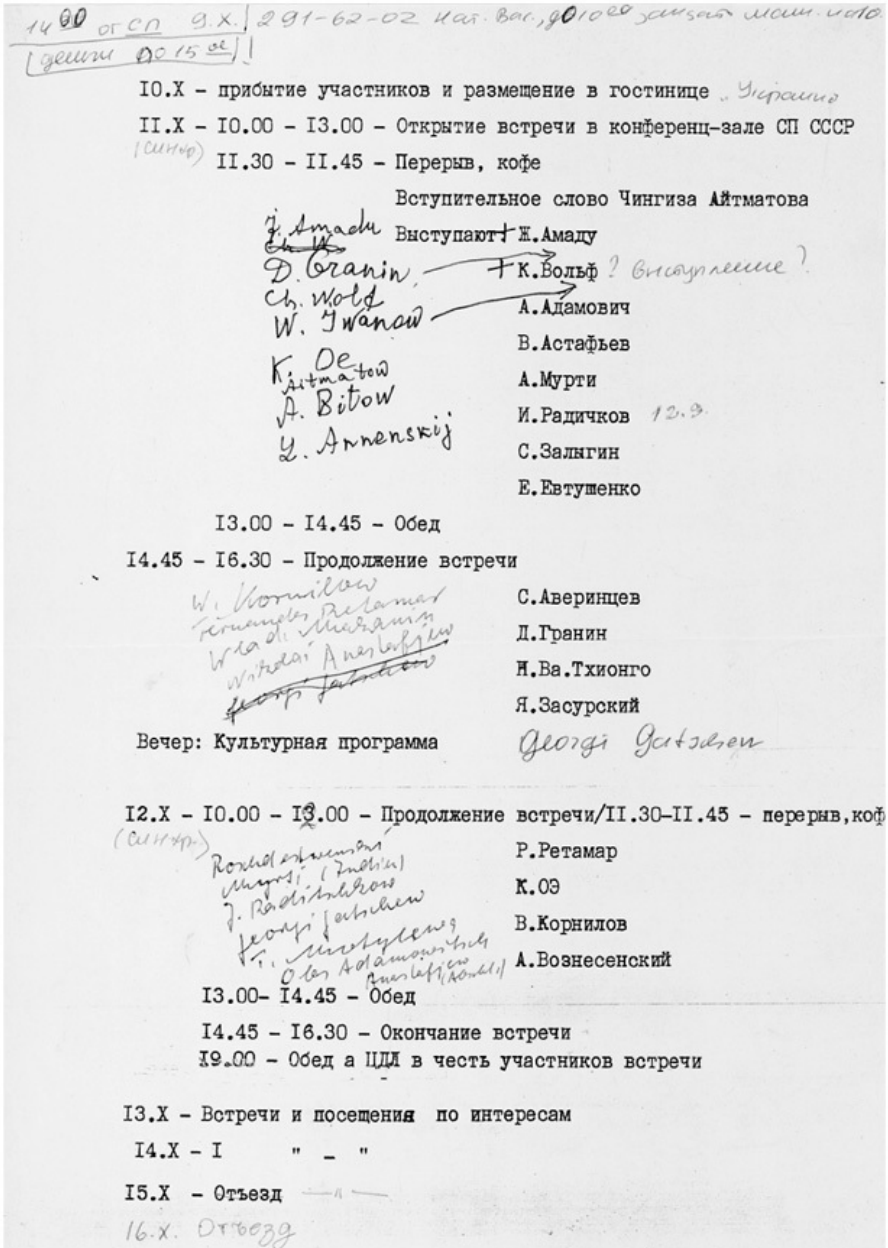
Из книги «Город Ангелов, или The Overcoat of Dr. Freud»

Герхард Вольф о десятой поездке

Эту последнюю поездку в Москву Криста Вольф предприняла по приглашению киргизского писателя Чингиза Айтматова (1928–2008), которого мы знали по его книгам, всемирно известной повести о любви «Джамиля» (1958) и в первую очередь критическому роману «Белый пароход» (1970), но до сих пор встречались с ним только на официальных конгрессах. В те дни Айтматов взял на себя руководство авторитетным журналом «Иностранная литература» и пригласил Кристу Вольф войти в новую редакционную коллегию именитых авторов, в том числе зарубежных. На заседаниях она встретила, в частности, нашу подругу Тамару Мотылеву, бразильца Жоржи Амаду (1912–2001) и знакомого нам Даниила Гранина (р. 1919), с которым мы уже виделись в ГДР и который после публикации «Образов детства» в журнале «Знамя» (6–9/1989) напечатал там же хвалебную рецензию. В списке участников были всемирно известный японский писатель и будущий нобелевский лауреат Кэндзабуро Оэ (р. 1935), а также русские писатели поколения «оттепели» Андрей Битов (р. 1937), Евгений Евтушенко (р. 1932) и Андрей Вознесенский (1933–2010) — выдающиеся современники общественных перемен, чьи выступления Криста тезисно записала.

Пребывание было омрачено событиями в ГДР: наша дочь Аннетта и ее муж Ян Фактор вечером 7 октября были арестованы поблизости от уличной демонстрации и только на следующий день, после нашего протеста через адвоката Грегора Гизи, вышли на свободу. В Лейпциге 9 октября состоялась крупнейшая до тех пор демонстрация (говорят о 70 000 участников); боялись, что ее могут расстрелять.

Прямо с заседания редакции Криста пыталась по телефону связаться с доверенным лицом Горбачева, Валентином Фалиным, чтобы рассказать ему об отчаянной ситуации в руководстве ГДР. Фалин, бывший советский посол в ФРГ, попросил передать, что не может поговорить с ней; как ей сообщили, он в этот день принимал Вилли Брандта.



I0.X – прибытие участников и размещение в гостинице

II.X – I0.00 – I3.00 – Открытие встречи в конференц-зале СП СССР

II.30 – II.45 – Перерыв, кофе

Вступительное слово Чингиза Айтматова

Выступают Ж.Амаду

К.Вольф

А.Адамович

В.Астафьев

А.Мурти

И.Радичков

С.Залыгин

Е.Евтушенко

I3.00 – I4.45 – Обед

I4.45 – I6.30 – Продолжение встречи

С.Аверинцев

Д.Гранин

Н.Ва.Тхионго

Я.Засурский

Вечер: Культурная программа

I2.X – I0.00 – I3.00 – Продолжение встречи/II.30–II.45 – перерыв, коф

Р.Ретамар

К.Оэ

В.Корнилов

А.Вознесенский

I3.00– I4.45 – Обед

I4.45 – I6.30 – Окончание встречи

I9.00 – Обед а ЦДЛ в честь участников встречи

I3.X – Встречи и посещения по интересам

I4.X – I " _ "

I5.X – Отъезд

Повестка дня заседания международной редколлегии журнала «Иностранная литература» 10–12 октября 1989 г. Выступают, в частности, Чингиз Айтматов, Жоржи Амаду, Криста Вольф, Виктор Астафьев, Даниил Гранин, Кэндзабуро Оэ и Евгений Евтушенко

В посольстве ГДР она встретилась с Куртом Хагером (1912–1998) из Политбюро СЕПГ — он назвал ее «товарищ» и на «ты»,

хотя знал, что в июне 1989-го Криста Вольф вышла из СЕПГ, — а также с министром культуры Гансом-Йоахимом Гофманом (1929–1994). О прощании с Москвой в аэропорту Криста Вольф подробно написала в «Городе Ангелов, или The Overcoat of Dr. Freud».

IN MEMORIAM

Герхард Вольф. Памяти Ефима Эткинда и Льва Копелева

После 1989 года мы по-прежнему оставались в контакте с нашими друзьями Львом Копелевым, Раисой Орловой и Ефимом Эткиндом, которых ранее вынудили эмигрировать или выслали из страны. Ефим Эткинд уехал на чужбину еще в 1974-м и получил в Париже литературоведческую профессуру. В 1982-м он издал на немецком языке сборник стихов Анны Ахматовой «В зазеркалье. Избранные стихотворения» [«Im Spiegelland. Ausgewählte Gedichte»] и посвятил его нам. В таком же духе он написал эссе «Суть сути, или Похвала памяти» для тома «Текст для К.В.» по случаю 65-летия Кристы Вольф, а в 1992-м вел с нею открытую переписку «О разнообразных существах внутри нас». Для меня он написал текст «Свобода», который в 1998-м вышел в сборнике «Поэзия всегда права», «in memoriam[44] нашего „социалистического“ прошлого». Последние годы жизни вплоть до своей кончины в 1999 году Ефим Эткинд с женой, Эльке Либс, жил в Потсдаме. В 2013 году она опубликовала книгу «Меланхолия счастья. Жизнь с Ефимом Эткиндом».

Лев Копелев и Раиса Орлова получили известие о «лишении гражданства» в 1981 году, во время поездки в Федеративную Республику. Они поселились в Кёльне, неподалеку от нашего общего друга Генриха Бёлля, где мы часто их навещали. Лев Копелев, как и Эткинд, текстом «Писательница под расколотым небом. Криста Вольф» откликнулся на литературный спор, разразившийся после публикации «Что остается» в 1990 году на литературных страницах западногерманских газет; в свою очередь Криста выступила с приветствием по случаю чтений Копелева в сентябре 1990 года в Аполлоновом зале Государственной оперы в Берлине. После его смерти она произнесла надгробную речь «С абсолютным чутьем к терпимости» 26 июня 1997 года в Кёльне.

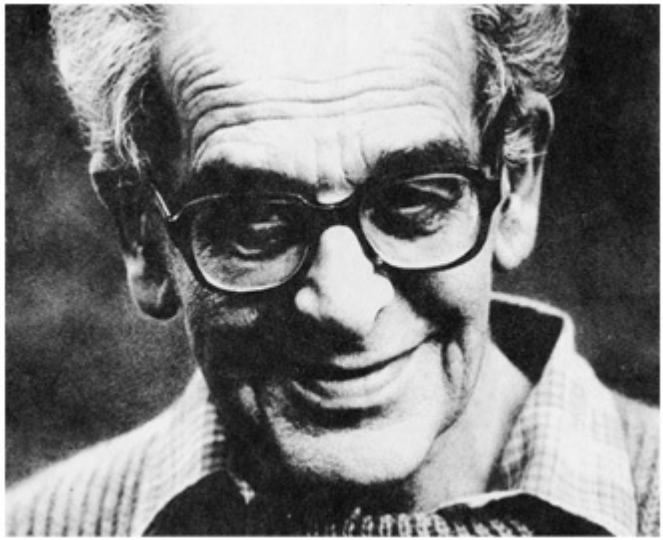
Криста Вольф. О разнообразных существах внутри нас. Переписка с Ефимом Эткиндом (1992)

Хельсинки, 23.4.92

Дорогая Криста, Лев [Копелев] дал мне почитать Вашу книжку [«Что остается»]; пишу Вам под очень сильным впечатлением от этой простой и трагической повести. Все, о чем Вы пишете, я пережил («Они все еще стоят? Да, стоят… Для чего им это…»[45]), только не сумел бы так потрясающе это выразить. Глубоко впечатлил меня и еще один аспект Вашей книги. На с. 81 Вы пишете: «…Я спросила, что нужно было спросить, получила ответы, которые знала заранее… делала все очень натурально, не избегая таких слов, как „огорчаюсь“, „тоскую“, ведь тот, кто ничего не чувствует, может пользоваться любыми словами». Лучше я эту идею выразить не смогу: да, можно говорить все, если ничего не чувствуешь. Я собираюсь написать книгу на эту тему, речь пойдет о Толстом, Гончарове, Достоевском, Чехове: чем больше можно бы сказать и чем глубже чувства, тем меньше можно выразить, тем меньше слов в нашем распоряжении. Русские писатели хорошо это понимали, особенно в «Идиоте» это чрезвычайно отчетливо; эту главу я назвал: «О легкости лжи и невозможности говорить правду» (генерал Иволгин — князь Мышкин).

Еще меня очень тронуло то, что Вы на с. 57 пишете о «я»: «А кто это? Какое из разнообразных существ, из которых складывается „я сама“? То ли, что хотело узнать себя? То ли, что хотело щадить себя?..» Хочу высказать свою любовь и свое восхищение всем этим разнообразным существам, что зовутся Криста Вольф.

Ваш Ефим Эткинд



Ефим Эткинд

23.5.92

Дорогой Ефим Эткинд,

Вы не поверите — а может быть, все же так и подумаете, — насколько важно для меня Ваше короткое письмецо по поводу «Что остается»: Вы ведь знаете, что как раз эту повесть совершенно растерзали; и в результате я долгое время видеть ее не могла, не говоря уже о том, чтобы читать публично (я вообще очень ограничила публичные выступления). Ведь, в частности, меня упрекали в том, что-де я, по сути, «государственная писательница», без всякого на то права изображаю себя преследуемой. Я невольно спросила себя: наверно, люди, которые так говорят, не умеют или не хотят читать? Возможно, то и другое.

Так или иначе, понимание, что к аргументам никто прислушиваться не станет, заставило меня замолчать. Не имело и не имеет смысла бросать многослойный опыт в этот ведьмин котел, который и в сфере культуры именует себя «немецким воссоединением» и в котором неистребимые корысти (в том числе психологического характера) пользуются уникальной возможностью наконец-то развить бурную деятельность; эти инстинкты настолько сильны и необузданны, что потребность в исторической правде и справедливости (пока что) минимальна, она довольно робко дает о себе знать лишь в «новых федеральных землях». Мы с удивлением замечаем, как в этом процессе соприкасаются крайние противоположности, «правизна» и

«левизна» уже ничего не значат ввиду неуемного желания (мотивированного по-разному) при строгом разделении на «жертв» и «преступников» очутиться на правильной стороне.

Ладно, тут ничего не поделаешь, стихии прокладывают себе дорогу. Что меня по-настоящему занимает, когда удается внутренне хоть немного освободиться от гнета этих сил, так это окаянный вопрос о правде, который Вы решительно берете на прицел в своем письме: «О легкости лжи и невозможности говорить правду». Или: как получается, что чем ближе подходишь к «правде», то есть к самому себе, к разнообразным существам в себе и особенно к тому из них, с каким менее всего хотел бы себя отождествить, — как получается, спрашиваю я, что в текст, идущий по следу этого существа и его правды, на пути от головы через руку к бумаге всегда закрадывается тень неискренности?

Хочу кое-что Вам рассказать. Уже 2–3 недели я, иногда с Гердом и ни в коем случае не каждый день, сижу над нашим штазиевским досье. Едешь в Лихтенберг, приходишь в бывший комплекс Штази — чудовищные кафкианские постройки — и находишь на одном из них эмблему с федеральным орлом: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРХИВ. Женщина, работавшая раньше в Институте изучения рынка, отвечает за нас обоих, то есть она еще до нас прочитала и систематизировала все наши документы — их 43 тома, — выдает нам желаемые два, три тома, которые мы можем проработать в ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ, где, разумеется, сидят и другие «читатели», с целью «просмотра документов». Получаешь формуляры, где можно записать, какие требуются копии. Имена, какие важно увидеть в копиях, надо по возможности выписать, потому что их зачерняют: защита личности и охрана информации. Но при желании к нашим документам имеет доступ любой сотрудник этого ведомства. Однажды нам уже анонимно звонила какая-то журналистка: у нее, мол, находится наша каталожная карточка из документов Штази, ей она больше не нужна: может быть, прислать по почте? В итоге она этого все же не сделала. По какому праву — кроме разве что права отыскать виновных и ответственных за преступления — эти документы, касающиеся, например, меня, должны храниться и предоставляться в распоряжение позднейших «пользователей», я не знаю.

Ладно, таковы внешние обстоятельства, я описываю их, чтобы Вы могли себе что-то представить под термином «ознакомление с актами Штази». (Сюда же относится, что наибольшая часть наших документов лежит в зеленом, обитом жестью деревянном контейнере, который мы зовем «матросский сундук» и который хранится в комнате с табличкой «временный склад».) Но каковы

суть внутренние обстоятельства или какими они станут при чтении документов? Почему в первые дни, выходя оттуда, я была так измучена, ехала на метро до Алекса, заходила в один из универмагов, чтобы что-нибудь купить, либо в кафе, чтобы необдуманно съесть пирожное со сбитыми сливками, чего обычно избегаю? (Давний мой синдром, знакомый по тем случаям, когда я возвращалась после аудиенции у одного из наших шишек, у которого добивалась для кого-то уступки.) Странным образом это не злость, но смесь безнадежности и чувства унижения — причем опять-таки не потому, что, как теперь выяснилось, мы еще с 1969-го находились под строгим наблюдением, мы оба как «оперативный объект двурушник» под постоянным подозрением в антигосударственной деятельности, а также «ППД» (подпольной политической деятельности) и «ПиД» (политико-идеологической диверсии); я довольно пристально наблюдала за собой: когда читала первые документы, которые изначально зачислили нас в категорию потенциальных вредителей, я все же ощутила что-то вроде удовлетворения: по крайней мере, это государство не считало меня «своей писательницей». Дальше пошли телефонные протоколы (большей частью резюме прослушек), дальше — масса длиннущих донесений от одного из наших ближайших друзей, в том числе о личной жизни наших дочерей, а временами отчет о прослушке прямо из квартиры. Ориентировки. Зарегистрировано, что нарочито пущенный слух, будто после того, как Бирмана лишили гражданства, я все же тайком вернулась «на партийную линию», подействовал на некоторых наших друзей. Планы нашего дома и нашей квартиры, которые больше всего меня оскорбили. Описание «легенд», придуманных, чтобы внедрить к нам определенных «сексотов». И вот тут подробнейшее описание инцидента, касающегося и Вас.

Помните берлинского физика, специалиста по высоким частотам, который учился в Ленинграде, потом работал в одном из тамошних институтов и часто бывал у Вас? Вы познакомились с ним в книжном магазине, которому продавали книги. Любитель литературы (возможно, и вправду любитель). Его имя я забыла, знаю только клички, под какими он значился в госбезопасности: сперва Вернер, потом Тимур. Сексот Тимур имел задание навестить нас — им, конечно, было известно, что мы виделись с Вами в Ленинграде, — передать от Вас привет и выяснить, как мы отреагируем на известие о Вашем увольнении из института и о Вашем намерении уехать из СССР. Ни о чем не подозревая, мы встретились с ним в одном из берлинских ресторанов, потом он однажды побывал у нас на квартире и подробнейшим образом доложил начальству, что мы с большим участием отнеслись к

Вашей судьбе, ни в коем разе не собирались обрывать дружбу с Вами, прикидывали, как бы передать Вам часть денег, какие были у нас в Москве, и т. д. Для господ из Штази это был лишний штрих к портрету — но что подвигло Тимура работать на них? Кстати, в данном случае Штази сотрудничало с КГБ, который в свою очередь очень интересовался Вами: к этим бумагам пришпилена и короткая справка по-русски.

Так или иначе, перед нами полный, без пробелов, отчет о нашей жизни за десять лет — документы после 1980-го почти все уничтожены. Но что же так угнетает меня, когда я все это читаю? Думаю, тому есть квазихудожественная причина: как личность я чувствую себя оскорбленной сведением к вопросу «да-нет»: враг государства — да или нет? Меня оскорбляет банализация и тривиализация нашей жизни в этих несказанно пошлых сексотских отчетах— ну не смешно ли? Словно я в глубине души могла ожидать даже от Штази чего-то вроде уважения к непостижимости людей, которым живет искусство!

Шутки в сторону, я, наверно, все-таки еще чуть приблизилась к тем противоречивым чувствам, что возникают у меня при чтении этого досье. Часть моей «разнообразной персоны» ощущает все это слабоумие как собственный позор, хотя оно направлено против меня, а я уже давным-давно не отождествляю себя с его инициаторами. Но ведь когда-то отождествляла, и эхо тех времен достигает меня теперь в этих бумагах. Я невольно задаюсь вопросом, сколько моралей я, собственно, вобрала в себя на протяжении жизни, отчасти даже «глубоко впитала», почему понадобилось так много времени и так много конфликтов, чтобы с ними расстаться… В какой-то мере я потрясена тем, что успешно вытесняла. Мое и без того глубокое недоверие к собственной памяти усиливается до все бо́льших сомнений в себе, которые я едва способна преодолеть в писательстве. Любая фраза, уже возникая, кажется мне фальшивой. Это ли испытывали русские писатели, о которых Вы собираетесь написать? Достоевский — да, он точно. Но и Чехов? С нетерпением жду Вашего эссе.

Заканчиваю, Вы давно заметили, что это письмо обращено и ко мне самой. Пошлю копию и Льву. «Что остается» прилагаю к этому письму. Вам нужны копии донесений Тимура? Вы бы наверняка вспомнили, кто этот человек, но зачем? Я в некоторой растерянности, не знаю, как быть с подобными познаниями. Вацлав Гавел, ознакомившись со своими документами, говорят, печально сказал: «Надеюсь, я уже это забыл». Как человек он, пожалуй, лучше меня.

Дорогой Ефим Эткинд, я рада, что Вы мне написали, и шлю

Вам сердечный привет, от Герда тоже.

Ваша

Криста Вольф

Ефим Эткинд. Суть сути, или «Похвала памяти» (1994)

Память — да нужна ли она сейчас вообще? Технический прогресс продвинулся настолько далеко, что у нас есть множество хитроумных приборов, заменяющих эту старомодную способность (или добродетель). Гётевский Фауст, повелевая мгновению остановиться, одновременно знает, что это невозможно. Время неудержимо.

Сегодня мы (все) повелеваем мгновению, и оно действительно останавливается: с помощью фотографии образ увековечивается, произнесенное слово или песня сохраняются на магнитной ленте. Во времена Гомера людям приходилось заучивать бесконечно длинные тексты наизусть — лишь много позже великие эпосы были опубликованы в виде книг. Книги можно хранить и забывать как прекрасные вещи. Зачем держать в голове еще и содержание? Они здесь, стоят на полке, доступные в любую минуту. Культурное достояние — это коллективная память человечества или некой нации. Наше время предоставляет удобную возможность объективировать эту память: как книги, пластинки, магнитные ленты, фотографии и прочие копии. Вместо того чтобы напрягать голову и сердце, мы можем собирать копии и хранить в ящиках. На крохотной поверхности компьютер хранит содержание целой библиотеки. Эти технические усовершенствования человеческой жизни многое меняют: память становится роскошью, электронная записная книжка «запоминает» все телефонные номера. В Париже у всех жителей есть «minitel» (компьютер), способный ответить почти на все будничные вопросы, во всяком случае, когда отходят поезда, где идет снег и сколько денег у них на счету.

Эта техника обусловливает совершенно иную структуру нашего времени. Двадцать четыре часа нужно распределить по-другому. Мы заблуждаемся, полагая себя такими же, как люди предшествующих поколений. Мы думаем, читаем и пишем иначе, проводим досуг иначе и под словами ученость, свобода, одиночество и/или дружба понимаем совсем иные вещи. Мы новое человечество с новым отношением к времени и пространству. Кругосветное путешествие, на которое сто лет назад требовалось бесконечно много времени, сегодня можно совершить за один день. Расстояния, транспортные пути сократились. А что до времени, то едва ли не каждое мгновение можно репродуцировать, исключительное умножается — жизнь

кажется дольше, чем когда-либо.

Это новое отношение к пространству и времени — самое важное, что отличает нас от предков? Есть кое-что еще: дотоле невиданная пропасть между разумом и понятой реальностью. Пропасть существовала всегда. Люди знали, что, например, невозможно представить себе «вечность» и «бесконечность» и что слова нашего материального языка неспособны точно выразить духовное. Но теперь эта пропасть стала намного глубже: структуру материи, открытую современной физикой и биологией, можно осмыслить только абстрактно. Это справедливо и для бесконечно малого, и для бесконечно большого, от атома до галактики или ультракоротких волн. Техника позволяет видеть невидимое, слышать неслышимое и запечатлевать неуловимое.

Новому человеку требуется и новая эмоциональная жизнь, чтобы справиться с собою самим и с миром, в котором почти не осталось тайн и который повсюду доступен. Ценность пяти чувств меняется. Любовь, злость, удивление, возмущение, ужас, нежность, страх и сострадание учатся новым способам ощущения и возможностям выражения. Должны измениться и искусства и художники. Как форма выражения внутреннего человека музыка, лирика, живопись, кино, проза, театр и т. д. должны найти язык, который оставит постмодернизм позади.

Нужна ли нам для этого память? Не есть ли она понятие архаичное, «устарелый» романтизм, как голубой цветок Новалиса, синяя птица Метерлинка или «настоящий» синий цвет у Анны Зегерс?

Теоретически все как будто бы правильно: новые научные результаты — новые возможности разума и общения — новые люди — новые органы чувств — новые искусства. И все же обстоит иначе: внутренняя жизнь реального нынешнего человека почти не отличается от жизни его прабабок и прадедов. Важнейший элемент нашего бытия — по-прежнему наше отношение к смерти. Наука и мировоззрение нашего столетия в этом плане ничего принципиально нового не создали. Тот, кто верует в Бога, верует и в загробную жизнь. Неверующие отрицают утешение бессмертия и стойко выдерживают взгляд в ничто. Всегда были набожные и атеисты или такие, как шиллеровский юноша конца XVIII века:

> И смертный пред Богом смирись:
> И мыслью своей не желай дерзновенно
> Знать тайны, Им мудро от нас сокровенной[46].

Или такие, как юный Гофмансталь, который на рубеже веков

продолжает Шекспира (и принимает Фрейда):

> Из той же ткани, что и сновиденья,
> Мы сотканы…
>
> Таинственно запутаны порядки
> Их нитей; словно дух — не погребен —
> Они нам задают свои загадки.
>
> Вот триединство: человек, вещь, сон[47].

Память — одно из важнейших свойств внутреннего человека. Она — осмысление прошлого, без которого человек вообще не может существовать. Ведь, судя по всему, именно самые простые вещи делают человека человеком, они же составляют и основу опять-таки «вечных» искусств. Сюда относится и память.

Чтобы это понять, человек должен оказаться у бездны, на грани смерти, где игра и существование наконец разделяются. Анна Ахматова, начавшая свой тяжкий поэтический путь в 1911 году, была окружена «игроками». Начало XX столетия в России назвали «Серебряным веком» культуры. Существенным признаком этой декадентской эпохи является триумф Homo ludens[48]: Игорь Северянин играет иностранными словами, Михаил Кузмин — гомосексуальными намеками, футуристы — десемантизованными словами, Константин Бальмонт — ономатопоэтикой.

Анна Ахматова остается при совсем простом, например при памяти, одной из центральных тем ее лирики. Снова и снова она спускается в «погреба воспоминаний», как она говаривала. Для нее нет нынешнего без прошлого, без будущего, она Кассандра своего времени. До войны, в 1940-м, она начинает цикл элегий, посвященных воспоминаниям как сути жизни. В третьей элегии она со страхом признается себе:

> Мне ведомы начала и концы,
> И жизнь после конца, и что-то,
> О чем теперь не надо вспоминать.

В четвертой она развивает своеобразную философию воспоминания, в котором различает три стадии: первая — счастливая.

> Еще не замер смех, струятся слезы,
> Пятно чернил не стерто со стола —

И, как печать на сердце, поцелуй,
Единственный, прощальный, незабвенный…

Вторая стадия печальна, почти мрачна. Прошлое похоже на кладбище, когда люди

…возвратившись, моют руки мылом.

Третья стадия поднимается до трагического:

Но тикают часы, весна сменяет
Одна другую, розовеет небо,
Меняются названья городов,
И нет уже свидетелей событий,
И не с кем плакать, не с кем вспоминать,
И медленно от нас уходят тени…

Эта последняя ступень — безнадежность, отчаяние уцелевших. Одиночество Вечного жида, обреченного невозможности смерти и переживающего всех «современников».

И медленно от нас уходят тени,
Которых мы уже не призываем,
Возврат которых был бы страшен нам.
И, раз проснувшись, видим, что забыли
Мы даже путь в тот дом уединенный,
И, задыхаясь от стыда и гнева,
Бежим туда, но (как во сне бывает)
Там все другое: люди, вещи, стены,
И нас никто не знает — мы чужие.
Мы не туда попали… Боже мой!

Но самое страшное еще впереди: осознание, что прошлое окончательно ушло и мы уже не можем им воспользоваться.

И вот когда горчайшее приходит:
Мы сознаем, что не могли б вместить
То прошлое в границы нашей жизни,
И нам оно почти что так же чуждо,
Как нашему соседу по квартире,
Что тех, кто умер, мы бы не узнали,
А те, с кем нам разлуку Бог послал,

Прекрасно обошлись без нас — и даже
Все к лучшему…

Вот что самое ужасное: наша собственная жизнь отделяется от нас и становится неузнаваемой. Мертвые удаляются навсегда, а живые, каких мы, пожалуй, надеялись встретить, стали чужаками. Мы заблуждались, полагая, что они в нас нуждаются, они прекрасно обошлись без нас — и даже / все к лучшему…

Эпоха Ахматовой была бурной. Ее поколение пережило больше, чем могло вынести: три революции, две мировые войны, Гражданскую войну, уничтожение русского крестьянства, так называемую коллективизацию, несколько волн огромного террора. В строках о третьей стадии воспоминания угадывается ее собственная жизнь: расстрел первого мужа, Николая Гумилева, разлука с оставшимися на Западе или бежавшими на Запад друзьями, потеря многих сосланных или казненных спутников. Но в то же время Ахматова говорит о человеческой жизни вообще, о трагедии всех времен. Воспоминание может и должно стать ужасным, и все-таки это единственное, что одушевляет жизнь.

В поэме «Реквием» она рассказывает об аресте мужа, а позднее и сына. Она ждет приговора, готова ко всему, но слишком хорошо знает, что, чтобы выдержать это, нужно все забыть.

И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.

У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.

А не то… Горячий шелест лета,
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

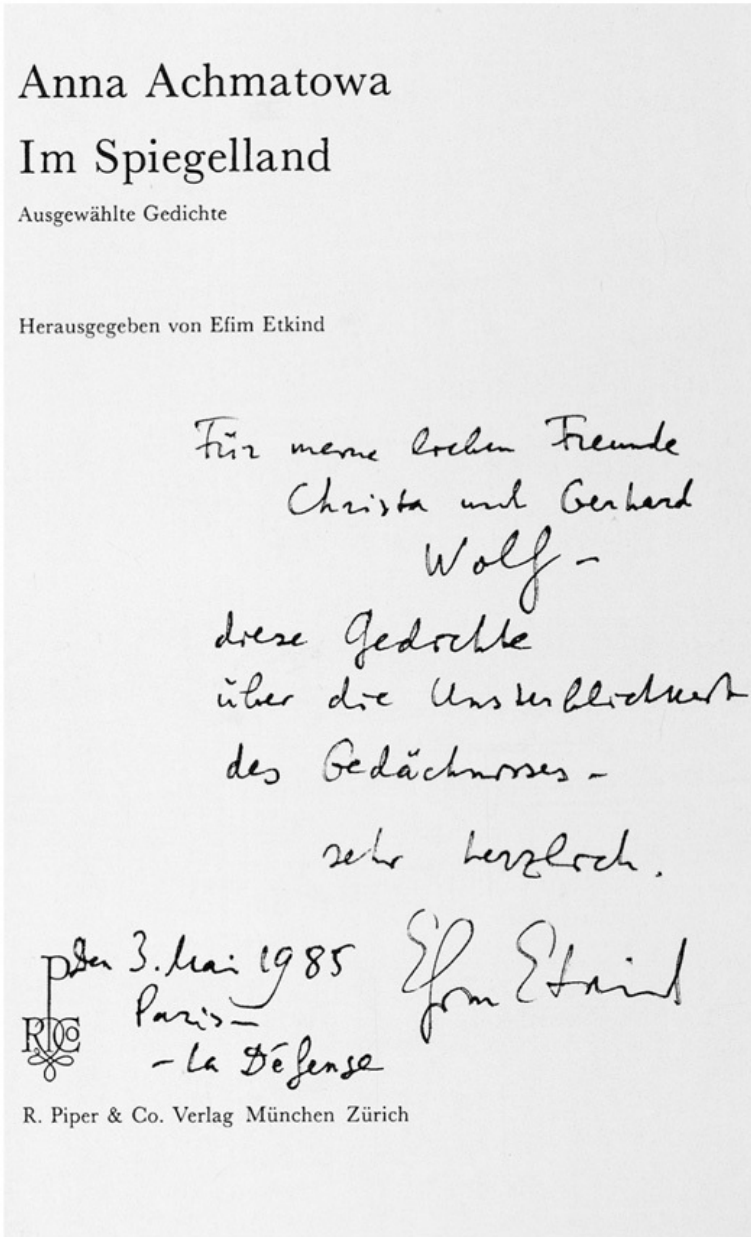
Чтобы не убить себя, нужно убить память. Но из дальнейшего становится ясно, что утрата воспоминания равнозначна безумию и что страшнее потерять память, чем жизнь. Поэтому она умоляет смерть:

Ты все равно придешь — зачем же не теперь?
Я жду тебя — мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.

История Ахматовой кажется показательной. Она принадлежит своему времени, XX веку, составляющему основу ее жизневосприятия и ее эстетики. Она современница Альберта Эйнштейна, Зигмунда Фрейда и Андрея Туполева, Пикассо и Маяковского, Мейерхольда и Эйзенштейна. При этом на протяжении всей своей творческой жизни — с 1911 по 1966 год — она оставалась очень далека от открытий физиков, психологов, биологов и химиков. Консерватизм не мешал ей писать самые настоящие стихи своего столетия, невзирая на мнимо «старомодную» стилистику. Понятие «авангард» было чуждо Ахматовой. Все, что лежало за пределами сути существования и искусства, казалось ей досужей игрой. Ее «Реквием» заканчивается четверостишием, которое могло бы стоять под всякой пьета или под картинами Филиппо Липпи:

Магдалина билась и рыдала.
Ученик любимый каменел.
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

Суть внутреннего человека остается в принципе неизменна — пока что! — невзирая на науку и генную технологию. Все вокруг нас может стать неузнаваемым — он останется (ужасно) «верен» себе. Воспоминание, составляющее суть культуры, одновременно есть суть сути.


Anna Achmatowa

Im Spiegelland

Ausgewählte Gedichte

Herausgegeben von Efim Etkind

Für meine lieben Freunde
Christa und Gerhard
Wolf –
diese Gedichte
über die Unsterblichkeit
des Gedächtnisses –
sehr herzlich.
Paris den 3. Mai 1985
Efim Etkind

R. Piper & Co. Verlag München Zürich

Посвящение Ефима Эткинда Кристе и Герхарду Вольф на титульном листе книги: А. Ахматова «В зазеркалье», сост. Ефим Эткинд, «Моим дорогим друзьям Кристе и Герхарду Вольф — эти стихи о бессмертии памяти — от всего сердца. Ефим Эткинд. 3 мая 1985 г. Париж, Дефанс»

Ефим Эткинд. Свобода. Герхарду Вольфу, in memoriam нашего «социалистического» прошлого

Барселона, 1 мая 1998 г.

Дорогой друг,

я рад возможности поздравить тебя с твоим невероятным днем рождения. С высоты моих восьмидесяти твои семьдесят кажутся мне детской игрой…

Значительную часть нашей жизни мы оба — каждый по-своему — прожили при так называемом социализме. Каков он был, этот советский социализм, наши западноевропейские коллеги, даже самые образованные, едва ли в состоянии себе представить. Но мы не забыли, как легок и прост был тогда переход от относительной свободы к полной несвободе. Об этом переходе — французы сказали бы: de l'Être au Néant et du Néant à l'Être[49]— рассказывает следующий автобиографический рассказ, выражающий наш менталитет того времени. В нем мы жили.

Быть может, такое существование нас закалило.

С наилучшими пожеланиями на будущее

остаюсь, дорогой Герхард,

твой Ефим Эткинд

Свобода

Короткая история, которую я хочу рассказать, произошла в 1951 году в Туле, промышленном городе к югу от Москвы. Я тогда преподавал в Педагогическом институте и жил в здании института, на самом верхнем этаже. В конце длинного коридора располагалась комната моего друга, историка Александра Каждана. Плотная занавеска отделяла эту часть коридора; там же был и умывальник.

Я спокойно брился за этой занавеской. И вдруг услыхал тихий стук в одну из многочисленных дверей в коридоре. Может, кто-то пришел ко мне и стучит в мою комнату? Я отвел занавеску в сторону и выглянул. У моей двери стоял молодой человек в военной форме.

— Вы к кому? — спросил я.

— К товарищу Эткинду, — ответил он.

— Это я, — сказал я, — пожалуйста, подождите немножко, я закончу бритье.

Я сразу понял, что этот визит означал конец моей жизни. 1951-й был годом новой мощной волны террора; несколько моих друзей и коллег были арестованы, кое-кто приговорен к десяти или (чаще) двадцати пяти годам лагерей. Мой учитель и друг, немолодой уже профессор Григорий Гуковский, умер в ленинградской тюрьме во время следствия. Почти все обвинения гласили: «еврейский буржуазный национализм». С 1948 года большинство еврейской интеллигенции — поэты, ученые, актеры, — все члены и руководство Антифашистского еврейского комитета, были арестованы; год спустя всех их казнили. Университеты всего Советского Союза были глубоко потрясены — вся пресса науськивала на космополитов, которых иногда называли и иначе: безродные, бродяги, антипатриоты, предатели; все эти слова были синонимами непроизнесенного, табуизированного слова — «еврей». Меня тоже год назад уволили из одного из ленинградских вузов — как космополита. Несколько месяцев я сидел без работы и зарабатывал на хлеб писанием диссертаций для тех партийных функционеров, которые хотели иметь докторскую степень (это довольно хорошо оплачивалось, особенно когда речь шла об истории Коммунистической партии). В конце концов мне удалось отыскать мужественного директора вуза; он дал мне возможность преподавать. Здесь, в Туле.

И вот теперь у моей двери стоял молодой офицер с погонами МВД (позднее КГБ). Я не питал ни малейших сомнений; дальнейшее было ясно: незамедлительный увод и арест, транспортировка в Ленинград, несколько допросов в ленинградском Большом доме, молниеносный суд и, как всегда, обычный приговор: двадцать пять лет лагерей «за принадлежность к группе заговорщиков и еврейских буржуазных националистов под руководством бывшего профессора Ленинградского университета Григория Гуковского». Итак, ни малейших сомнений я не питал. Быстро добрился, открыл дверь в комнату Каждана, написал короткие прощальные письма матери, жене и двум маленьким дочкам, сунул их другу под подушку и решительно направился к своей двери. Офицер терпеливо ждал, сидя на подоконнике. Я открыл дверь и пригласил рокового гостя войти.

Он последовал за мной, потом робко остановился и сказал:

— Товарищ Эткинд, я студент-заочник, пришел к вам сдать экзамен по литературе. Сегодня можно? А то я завтра утром уезжаю…

«Студент-заочник»! Эти слова стали переломом: я уже не был

жертвой, я мог жить дальше, я воскрес!

— Приходите в четыре в экзаменационную аудиторию на третьем этаже, — строго и деловито сказал я. В некотором смысле жертвой теперь был он. Целый час я бродил по улицам Тулы — наслаждался свободой.

Вот так мы жили.

Лев Копелев. Писательница под расколотым небом. Криста Вольф (1993)

Чистая, неприкрашенная правда, и только она, — вот по большому счету ключ к человеку. Зачем же нам добровольно выпускать из рук свое решающее преимущество?

Криста Вольф

I

Когда летом 1990 года вышла повесть «Что остается», во всех СМИ вскоре грянул сосредоточенный ураганный огонь доносов. Отдельные опусы отличались по стилю и словарю — один аргументировал причесанными цитатами, другой ссылался на слухи и повторял давным-давно публично опровергнутую ложь: Криста Вольф якобы отозвала свою подпись под письмом протеста против того, что Вольфа Бирмана лишили гражданства. (Эту прицельную клевету запустил враждебно настроенный критик осенью 1987 года, когда Кристе Вольф присудили премию сестры и брата Шолль.) Всем маневрам начавшихся почти одновременно «критических походов» против Кристы Вольф были свойственны одинаковая мелкотравчатая злоба и бесконечная далекость от действительности.

Но и годы спустя почти невозможно угадать, что двигало авторами: простая литературная зависть мелких душонок к успешной писательнице? Или всего-навсего фанатичный, яростный антикоммунизм, особенно ярко выраженный у тех, кто ранее прошел партийную школу «реального социализма»? Они навсегда привыкли к двумерному мировосприятию: «Кто не с нами, тот против нас — tertium non datur[50]». Именно в такой бездуховности все, что прежде хвалили и чем восхищались, теперь должно было подвергаться насмешкам и проклятиям. При этом отдавалось предпочтение идеологическому и моралистическому оружию, скажем, такому, каким некогда Менцель и Бёрне атаковали «княжеского прихвостня» Гёте. Нечто похожее я замечаю у некоторых бывших «советских литераторов», которые теперь пытаются точно располовинить современную

русскую литературу: с одной стороны, официальную, коррумпированную, приспособленческую, с другой — оппозиционную, свободную, независимую. Эти хирурги от критики не могут объяснить, почему Александр Твардовский, большой поэт и покровитель Солженицына, одновременно был главным редактором известного ежемесячника и до последнего своего дня оставался убежденным коммунистом или почему Борис Пастернак в тяжелейшие годы сталинского террора писал искренние патриотические стихи, а вот в годы хрущевской «оттепели», после того как ему присудили Нобелевскую премию, подвергся ужасной травле.

В Германии в кипучих дебатах о воссоединении поборники скорейшей смычки или присоединения взялись за давно испытанное фундаменталистское оружие. Самые радикальные по-прежнему видели к востоку от Эльбы «зону» или «ГДР» (в кавычках!). Логика у них была простая: Из Назарета может ли быть что доброе?[51]… Для авторов такой двумерной, идеологизированной культурной истории жизнь и творчество Кристы Вольф — возмутительная помеха.

Рьяные критики, которые, каковы бы ни были их мотивы, вдруг стараются выставить Кристу Вольф «конформисткой системы», не желают видеть реального соотношения государственной власти и духовной жизни, партийной идеологии и литературы. В ГДР, как и во всех странах с тоталитарной или авторитарной властью, поэзия и искусство развивались независимо от государственной политики и господствующей идеологии. Деспоты могут уничтожать поэтов, но неспособны создавать поэзию.

Трагичны были судьбы поэтов, уступивших соблазну воинствующих идеологий — как Маяковский или Брехт, — однако трагическая вина есть антитеза коррумпированности или рабской покорности.

II

Преступления Сталина, Гитлера и их приспешников сопоставимы, но приверженцы этих гнусных соблазнителей народов принципиально различны. Те, кто признавал программу порабощения и уничтожения «неполноценных» наций и рас, признавал шовинистическое человеконенавистничество, были в принципе мотивированы иначе, нежели те, кто верил, что выступает за свободу и равенство всех людей, за всех угнетенных и эксплуатируемых, за справедливость и братство всех народов на

земле. Заблуждения этакого Ганса Йоста, которого Геббельс назначил председателем Имперской палаты литературы, несопоставимы с заблуждениями Бертольта Брехта, которому Ульбрихт нередко отравлял жизнь.

Томас Манн сурово осуждал всех немецких авторов, которые не эмигрировали и не оказывали сопротивления. Великий писатель был в таком ужасе от кошмаров нацизма, что в полемическом раже судил слишком резко, а то и несправедливо. Нынешним его последователям хочется всех авторов тогдашней ГДР, которые не сели в тюрьму, не бежали и не лишились гражданства, выставить привилегированными столпами системы.

В большинстве случаев эти обвинения ложны или преувеличенны, а в «случае Кристы Вольф» политические и моралистические обвинения суть всего лишь уродливые порождения злобной фантазии. Это я могу утверждать с чистой совестью, потому что дружу с Кристой и Герхардом Вольф с 1965 года и внимательно читаю все их публикации. Из их писем — в самые тяжелые для нас годы они остались верны мне и моей жене, — по рассказам общих друзей я знаю, что им пришлось вынести в жестоких стычках с государственными и партийными инстанциями, с Союзом писателей и цензурой.

Брызжущие ядом, пристрастные критики снова и снова обвиняли автора «Размышлений о Кристе Т.», «Образов детства», «Кассандры» и других работ во всевозможных идеологических прегрешениях. И хорошо организованные «сознательные» читатели также публично ее оскорбляли. И все это она выносила спокойно, никогда не «признавая свои ошибки и не раскаиваясь», как того всегда требовало руководство и добивалось от некоторых авторов.

Каких сил стоило ей это спокойствие, это полное неаффектированного достоинства безмолвное сопротивление, наверно, могут сказать кардиологи. Но каждый непредвзятый читатель может увидеть по ее эпическим произведениям, по ее эссе и лекциям, как сурово она сама судила себя, свое давнее и недавнее прошлое.

Еще в мае 1983 года, в одной из дискуссий, она вспоминала годы учебы в Лейпциге (1949–1953):

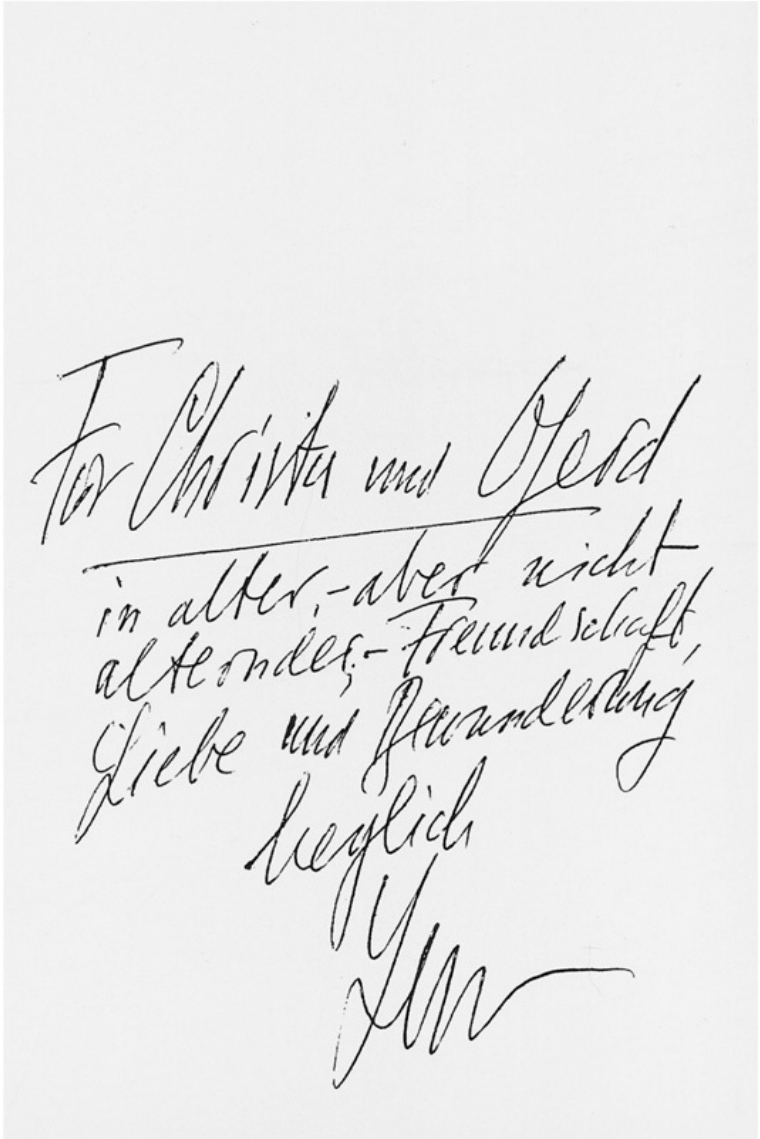
«В ту пору германистика и марксистская философия — последнюю хочу упомянуть непременно — своей довольно догматичной манерой на годы замедлили начало моего писательства. Поскольку отняли у меня непосредственность переживания. Собственно, перелом произошел только на „Кристе Т.“. В „Расколотом небе“ он только начинается, но настоящий прорыв, когда рушатся плотины, состоялся на

„Кристе Т.“».

Она проследила и более отдаленные исторические источники трагической вины, ее собственной — личной — и ее современников, публицистически разъяснила и воспроизвела художественно (например, в «Образах детства»).

Повесть «Что остается», поднявшая столько пыли на литературных страницах крупнейших немецких газет, пожалуй, также и политическое свидетельство, но в первую очередь это лирическая проза, разбирательство автора с самой собой. Она размышляет о конкретных событиях в нынешней Германии, а вместе с тем об общих проблемах многогранных взаимоотношений художника с текущими событиями. Как духовные, так и эстетические истоки этой повести вновь надо искать в восточно- и западногерманских СМИ; непредвзятые литературные критики скорее отыщут их в публицистике Георга Фёрстера или Генриха Гейне.

Лев Копелев с Кристой и Герхардом Вольф на открытии выставки Копелева «Немецко-русские встречи» в Берлинской городской библиотеке, 1996 г.



Посвящение в книге Льва Копелева «И все же надеяться. Тексты немецких лет» («Гофман и Кампе», 1991)

«Кристе Вольф и Герду — в знак давней, но нестареющей дружбы, любви и восхищения, сердечно — подпись»

III

Когда этот текст уже был в типографии, в актах Штази была обнаружена папка 1959–1961 годов, содержащая документы об отношениях Кристы Вольф со Штази. Ее противники

почувствовали свои оценки подтвержденными, а иные друзья огорченно молчали — стало быть, все же было кое-что сексотовское. Ни те ни другие не заметили — а тем паче всерьез не задумались, — что это «дело» еще в 1962-м было закрыто. Многочисленные отчеты, донесения и прочие материалы госбезопасности в последующих 41 папке, напротив, свидетельствуют, что Криста и Герхард Вольф с шестидесятых годов находились под наблюдением Штази, под слежкой, были объектом доносов как противники государства и партии.

В арифметическом примере этой истории об отношениях между писательницей и государством заложен глубокий трагический смысл. Бертольт Брехт, Анна Зегерс, Максим Горький, Александр Твардовский и другие писатели сознавали слабости и ошибки политической власти, которая господствовала в якобы социалистических странах, однако же верили, что, несмотря ни на что, в итоге все же будет построено справедливое социалистическое общество. «Ты рядом, даль социализма», — мечтал Пастернак.

Чем на самом деле были советские «органы государственной безопасности» — ЧК, ГПУ, МГБ, КГБ, — большинство моих сверстников и многие старшие мои соотечественники начали замечать и понимать только в жуткие годы террора после 1936-го. Однако вторжение гитлеровских войск в 1941 году затормозило и прервало этот процесс.

В поздние пятидесятые годы, когда «оттепель» в Москве обещала весну, в Восточном Берлине провозгласили «новое мышление» и ускоренное строительство реального социализма. Что как раз в это время молодая лейпцигская литераторша видела в товарищах из госбезопасности сотрудников и соратников по такому строительству, отнюдь не исключение, скорее правило, трагическое заблуждение многих людей. То, что тогда думала и чувствовала, она, пожалуй, уже описала или еще опишет. Что она не опубликовала этих воспоминаний ранее, а кое-что и вправду забыла, вполне понятно. В течение нескольких месяцев три десятилетия назад, когда говорила с «ловцами душ» как товарищ, Криста Вольф была одним из многих обманутых партией, доверчивых, заблудших людей. Но когда вырвалась из паутины, была одним из немногих смельчаков.

В 1968 году войска Варшавского договора вторглись в Чехословакию, советские танки задавили мечту о «социализме с человеческим лицом». С тех пор все большее число людей в якобы социалистических странах начало понимать, сколь беспределен был обман, маскировавший бесчеловечную суть их государственной власти. Но большинство не осмеливалось

выступить против него публично. Боялись — и справедливо — репрессий, тревожились о своих близких и не хотели гражданской войны.

Криста Вольф тоже не протестовала публично, только не от страха. Она бы легко могла уехать на Запад, была бы там принята с восторгом, во многих отношениях жила бы лучше, увереннее. Но она осталась, ибо считала себя гражданкой и писательницей ГДР. Не хотела покидать свою родину, своих восточногерманских соотечественников, как признавалась и Анна Ахматова:

> Я была тогда с моим народом,
> Там, где мой народ, к несчастью, был.

Криста Вольф не хотела отказываться и от мечты о социалистической Германии, ибо продолжала надеяться на новое начало, на принципиальную перестройку общества, к которому принадлежала. Внутренне она противостояла господствующей идеологии, тоталитарным претензиям государства, но не становилась на сторону его открытых противников, не поднималась на баррикады…

В своих заблуждениях она была одной из многих; в своем безмолвном сопротивлении, в своих надеждах и мечтах она была одной из немногих; но в своем творчестве она уникальна.

Пусть критики придерживаются разных мнений об эстетической ценности ее прозы, пусть о ее высказываниях по историческим, социальным и политическим вопросам можно спорить. В тяжелые годы немецкой истории, когда и правые, и левые всезнайки уже твердили о «расхождении» двух немецких «государственных и культурных наций», художественное творчество Кристы Вольф бесспорно воплощало и развивало неделимость немецкой национальной культуры. И неоспорим тот факт, что произведения Кристы Вольф уже стали частью мировой литературы.

Криста Вольф. С абсолютным чутьем к терпимости. Надгробная речь по случаю кончины Льва Копелева (1997)

Льва Копелева я всегда буду видеть перед собой живым, в разных местах, где мы встречались с ним более трех десятков лет. Конечно, в его московской квартире, как он пинает стоящий на полу телефон: «Маленький предатель!» На московских улицах рядом с нами, разъясняющим нам свою топографию города. В мастерской художника Бориса Биргера, одного из несчетных друзей Льва, которые как художники были оттеснены на обочину. В квартире его дочери, за одним из знаменитых домов на улице Горького, — его зять, протестовавший против вторжения войск Варшавского договора в Прагу, только что вышел из тюрьмы, — где я впервые услышала, как члены семьи и друзья Льва говорят об эмиграции. Мою семью разметало по всему свету, каждый раз печально говорил он, когда мы виделись в последние годы, в Гамбурге, в его кёльнской квартире, на выставках, в театральных залах, в Берлине.

Познакомилась я с ним в 1965 году у Анны Зегерс, которую он почитал (до глубокой старости он сохранил чуть ли не благоговейное отношение к искусству и людям искусства). В тот вечер они резко поспорили. Речь шла о листовках Ильи Эренбурга времен Второй мировой войны, Анна Зегерс защищала друга, который помог ей в Париже, когда ей грозила опасность, Лев Копелев его критиковал. Тогда я еще не знала, что он долгие годы сидел в лагерях за «буржуазно-гуманистическую пропаганду» — сиречь за критику насилия Красной армии над немецким гражданским населением в конце Второй мировой войны. Кончилось тем, что Анна Зегерс и Лев Копелев крепко обнялись. Позднее он напомнил мне, что потом, когда мы ехали в машине через восточноберлинские предместья, я рассказала ему о своих сомнениях и конфликтах. То есть он с самого начала завоевал мое доверие. За рулем, кстати, был человек, принадлежавший к числу тех офицеров вермахта, с которыми Лев встретился как учитель фронтовой антифашистской школы для военнослужащих вермахта. Он обладал талантом превращать врагов в друзей. В ГДР у него было много таких друзей, в том числе среди писателей — в отдельных случаях, которые очень его огорчали, они оказались ложными друзьями. Он не мог понять предательство, его душевный аппарат был для этого не приспособлен. Поэтому кое-кто называл его «наивным». Этому есть и другое название —

«доброта», старомодное слово, старомодное качество. Оно делало его ранимым и одновременно защищало.

Через два дня после падения Берлинской стены — его голос по телефону, совсем рядом: «Я здесь, хочу вас повидать». В спешке он прилетел без документов, пограничные посты еще не сняли, они не хотели его пропускать, но стоявшие вокруг жители ГДР возмутились: они что же, не знают великого русского писателя Льва Копелева? Неужто хотят запретить ему въезд? Он прошел без документов. Потом мы побывали на кладбище Доротеенштедтишер-фридхоф у могил Гегеля и Брехта.

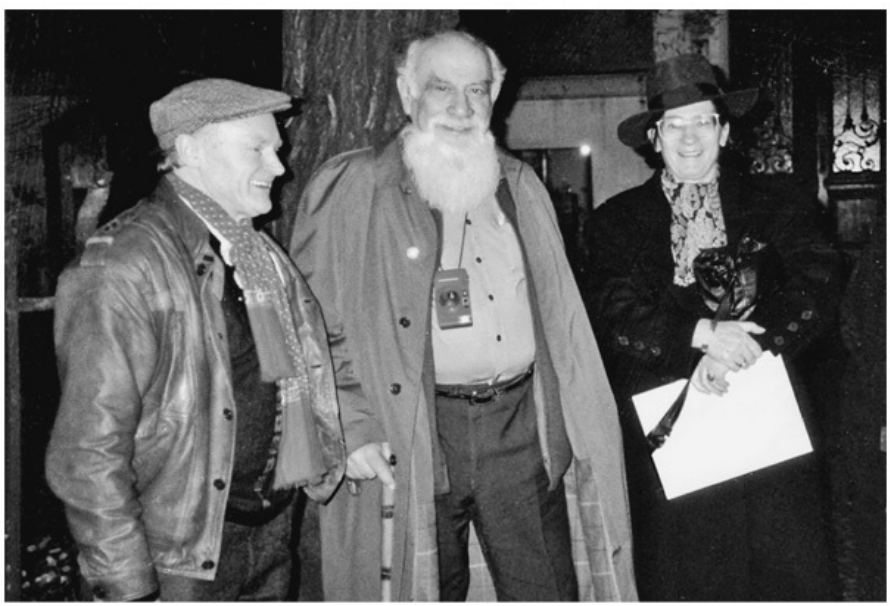
После того как в 1980 году Советский Союз лишил его гражданства — глубокая боль, — Лев, с тростью и патриархальной бородой, как новый Агасфер странствовал по городам западного мира. Не уставая смотреть, воспринимать, встречаться с новыми людьми, выступать с речами, спорить, объяснять, добиваться понимания. Самым действенным аргументом был он сам. Тот, кто знал его жизнь и приближался к нему с робостью и почтением, видел простого, до глубины души человечного человека, свободного от предрассудков, полного любопытства ко всему новому, особенно к людям, чутко и внимательно следящего за ходом вещей, во многом обращенного к России, зачастую глубоко обеспокоенного, а одновременно «все-таки надеющегося». Печаль он себе позволял, смирение — нет. Боролся с ним работой. Второй его вопрос при каждой нашей встрече, теперь чаще на его кёльнской кухне, сперва с Раей, потом с Маришей, был: «Ты работаешь? Ты же работаешь!» Я видела его на больничных койках, окруженного верными сотрудницами и сотрудниками, которым он диктовал, кучи газет, радио, телевизор под рукой, в ожидании посетителей, которым он рассказывал о недавно состоявшихся и вскоре предстоящих публикациях, одержимый взятой на себя миссией — сближать немцев и русских, выступая как «посредник и мостостроитель». Ведь он был из тех, кто еще верил в «оружие-слово». «Я знаю лишь одно средство, одно оружие, один инструмент, — говорил он, — слово, написанное, спетое, произнесенное шепотом, выкрикнутое слово…» Фраза, продиктованная опытом русских и других восточноевропейских диссидентов и писателей, о которых он нам рассказывал, чьи еще неизвестные у нас стихи нам цитировал.

Книга Льва Копелева «Хранить вечно», название, от которого пробирает дрожь, относится к числу тех, что являются сейчас неоспоримым свидетельством, «хранимым вечно», и наряду с книгами Солженицына, Надежды Мандельштам, Лидии Чуковской открыли нам глаза. В трех томах биографической трилогии Копелев раскрывает перед нами свою жизнь, обыкновенную жизнь

современника, захваченного мальстримом этого столетия и, не в последнюю очередь благодаря беспощадному самопознанию, сумевшего достичь внутренней свободы, которая озаряла всех, с кем он встречался. Он был мужествен, полон гнева и печали, свободен от самоуверенности и преисполнен задумчивости, чуток к кризисным развитиям друзей. Как раз поэтому он помогал нам сделать болезненные выводы, подавал пример, как преодолевать ошибки, как себя исправлять, сокрушать в себе фальшивые идолы и жить дальше. Он действительно умел помогать. Мог безудержно хвалить. Мог вдохнуть мужество.

Как часто в последние годы Лев говорил и писал, что Россию может спасти только чудо, и получал в ответ усмешку. Теперь, когда его нет, я понимаю, что он сам был своего рода чудом и что подобная фраза, пожалуй, основана на простом собственном опыте.

Он, во всех смыслах этого слова, обезоруживал. Как у других бывает абсолютный музыкальный слух, так у него было абсолютное чутье к порядочности и человечности. Думаю, почти каждый, кто с ним сближался, невольно показывал свои лучшие стороны. Быть может, это и есть самый действенный способ что-то в мире улучшить.



Герхард Вольф, Лев Копелев и Криста Вольф в Берлине, за два дня до падения Стены

У могилы Анны Зегерс, кладбище Доротеенштедтишер-фридхоф, Берлин

Библиография

Вторая поездка. 1959 г.

Криста Вольф об Отто Готше. В кн.: Christa Wolf: Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud. Berlin: Suhrkamp 2010, S. 111–112.

Christa Wolf an Wladimir Steshenski, 3. September 1960.

Владимир Стеженский Кристе Вольф, 14 сентября 1960 г.

Christa Wolf Archiv im Archiv der Akademie der Künste, Berlin.

Третья поездка. 1963 г.

Отрывки из дневников Бригитты Райман. В кн.: Brigitte Reimann: Ich bedaure nichts. Tagebücher 1955–1963. Hrsg. von Angela Drescher. Berlin: Aufbau 1997, S. 341–353.

Arkadi Jerussalimski an Christa Wolf, 26. Mai 1965.

Christa Wolf an Frau Jerussalimskaja, 3. Dezember 1965.

Christa Wolf Archiv im Archiv der Akademie der Künste, Berlin.

Четвертая поездка. 1966 г.

Wladimir Steshenski an Christa Wolf, 20. Dezember 1967.

Christa Wolf an Wladimir Steshenski, 15. Juni 1969.

Christa Wolf Archiv im Archiv der Akademie der Künste, Berlin.

Christa Wolf: Das Eigene. Juri Kasakow. Vorwort in: Juri Kasakow: Larifari und andere Erzählungen. Berlin / DDR: Kultur und Fortschritt 1966, S. 5–11. Auch in: Christa Wolf: Werke 4. Essays / Gespräche / Reden / Briefe 1959–1974. Hrsg. von Sonja Hilzinger. Hamburg: Luchterhand 1999, S. 131–135.

Christa Wolf: Der Sinn einer neuen Sache. Vera Inber. In: Christa Wolf: Lesen und Schreiben. Berlin: Aufbau 1973, S. 60–63. Rundfunkbeitrag für die Sendereihe des Deutschlandsenders (Berlin / DDR) «Dichtung der neuen Epoche. Schriftsteller der DDR über sowjetische Literatur» vom 15.11.1967 unter dem Titel «Der Platz an der Sonne». Auch in: Christa Wolf: Werke 4. Essays / Gespräche / Reden / Briefe 1959–1974. Hrsg. von Sonja Hilzinger. München: Luchterhand 1999, S. 176–179.

Пятая поездка. 1968 г.

Отрывки из дневника Макса Фриша, 17–22 июня 1968 г. Tagebuch 1966–1971. In: Max Frisch: Gesammelte Werke in zeitlicher Folge. Sechster Band. Frankfurt/M: Suhrkamp 1998, S. 141–150.

Christa Wolf: Begegnungen. Max Frisch zum 70. Geburtstag. In: Begegnungen. Eine Festschrift für Max Frisch zum 70. Geburtstag. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1981, S. 219–226. Auch in: Christa Wolf:

Werke 8. Essays / Gespräche / Reden / Briefe 1975–1986. Hrsg. von Sonja Hilzinger. München: Luchterhand 2000, S. 202–209. Русский перевод в кн.: Криста Вольф. От первого лица. М.: Прогресс, 1990.

Christa Wolf an Lew Kopelew, 28. November 1969.

Lew Kopelew an Christa Wolf, 29. August 1973.

Christa Wolf an Lew Kopelew, 15. September 1973.

Lew Kopelew Archiv im Archiv der Forschungsstelle Ost-europa der Universität Bremen.

Шестая поездка. 1970 г.

Воспоминания Кристы Вольф о Ефиме Эткинде в кн.: Christa Wolf: Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud. Berlin: Suhrkamp 2010, S. 58–60.

«Справка» КГБ по поводу пребывания Кристы Вольф в Комарове 14–24 июня 1970 г. В кн.: Aktensicht Christa Wolf. Zerrspiegel und Dialog. Hrsg. Hermann Vinke. Hamburg: Luchterhand 1993, S. 272–273.

Lew Kopelew: Brief an Gerhard Wolf vom 12. Dezember 1971. In: Die Poesie hat immer recht. Gerhard Wolf — Autor, Herausgeber, Verleger. Ein Almanach zum 70. Geburtstag. Berlin: Gerhard Wolf Janus Press 1998, S. 66–69.

Седьмая поездка. 1973 г.

Отрывки из: Christa Wolf: Fragen an Konstantin Simonow. In: Neue Deutsche Literatur Heft 12, 1973, 211. Jg. 21. Интервью по поручению журнала «Нойе дойче литератур» было предназначено для тематического номера «Literarische Werkstatt UdSSR — DDR». Встреча состоялась 21.07.1973 г. на даче Константина Симонова, в качестве переводчика участвовала Лидия Герасимова, интервью было записано на пленку, слегка отредактировано и позднее переведено на немецкий Эвой Даннеман (Eva Dannemann). По-русски опубликовано в журнале «Литературное обозрение», № 2/1974. Немецкий текст опубликован также в: Christa Wolf: Werke 4. Essays / Gespräche / Reden / Briefe 1959–1974. München: Luchterhand 1999, S. 380–400 и в кн.: Konstantin Simonow: Erfahrungen mit Literatur. Betrachtungen, Gespräche, Erinnerungen. Hrsg. von Nyota Thun. Berlin: Volk und Welt 1984, S. 91–107.

Christa Wolf: Donnerstag, 27. September 1973. Treffen mit Juri Trifonow in Berlin. In: Christa Wolf: Ein Tag im Jahr 1960–2000. München: Luchterhand 2003, S. 178–181. Auch in: Christa Wolf: Ein Tag im Jahr 1960–2000. Frankfurt/M: Suhrkamp 2008, S. 191–195.

Отрывки из статьи Льва Копелева «Образы правды» («Wahrheitsmuster»). In: Lew Kopelew: Der Wind weht, wo er will. Gedanken über Dichter. Hamburg: Hoffmann und Campe 1988, S.

330–343.

Девятая поездка. 1987 г.

Отрывки из беседы переводчиков Нины Федоровой и Альберта Карельского с Евгенией (Женей) Кацевой (Москва, июнь 1988 г.): Filmaufnahme von Christian Lehmann und Karlheinz Mund, DEFA-Dokumentarfilm, Filmmuseum Potsdam Archiv, transkribiert von Gerhard Wolf.

Десятая поездка. 1989 г.

Прощание Кристы Вольф с Москвой. В кн.: Christa Wolf: Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud. Berlin: Suhrkamp 2010, S. 72–73.

In memoriam

Von dem multiplen Wesen in uns. Briefwechsel mit Efim Etkind. Brief von Efim Etkind an Christa Wolf vom 23. April 1992 sowie Brief von Christa Wolf an Efim Etkind vom 23. Mai 1992. In: Auf dem Weg nach Tabou. Texte 1990–1994. Köln: Kiepenheuer und Witsch 1994, S. 194–201. Auch in Christa Wolf: Werke 12. Essays / Gespräche / Reden / Briefe 1987–2000. Hrsg. von Sonja Hilzinger. München: Luchterhand 2001, S. 430–436.

Efim Etkind: Der Kern des Kerns oder «Lob des Gedächtnisses». In: Ein Text für C.W. Hrsg. von Gerhard Wolf. Berlin: Gerhard Wolf Janus Press 1994, S. 169–171.

Efim Etkind: Brief an Gerhard Wolf vom 1. Mai 1998, sowie Efim Etkind: Die Freiheit. In: Die Poesie hat immer recht. Gerhard Wolf — Autor, Herausgeber, Verleger. Ein Almanach zum 70. Geburtstag. Berlin: Gerhard Wolf Janus Press 1998, S. 169–171.

Lew Kopelew: Dichterin unter geteiltem Himmel. In: Lew Kopelew: Laudationes. Göttingen: Steidl 1993, S. 163–170.

Christa Wolf: Mit dem absoluten Sinn für Toleranz. Totenrede für Lew Kopelew (Juni 1997). In: Christa Wolf: Werke. Bd. 12. Essays / Gespräche / Reden / Briefe 1987–2000. Hrsg. von Sonja Hilzinger. München: Luchterhand 2001, S. 607–610.

Эпиграфы в начале книги

Борис Пастернак. Свидание. Из романа «Доктор Живаго».

Анна Ахматова. Наяву. Стихотворение датировано 13 июня 1946 г. Из: Шиповник цветет. Сожженная тетрадь.

Анна Ахматова. Во сне. Стихотворение датировано 15 февраля 1946 г. Из: Шиповник цветет. Сожженная тетрадь.

Источники иллюстраций

bpk-images, Berlin (Foto: Herbert Hensky)

Christa Wolf Archiv / Akademie der Künste, Berlin.

Lothar Grünewald, © Antje Leetz, Berlin.

Karl-Heinz Korn, Köln.

Berndt-Michael Maurer, Köln-Dellbrück.

Inge Morath © Inge Morath Foundation / Magnum Photos / Agentur Focus, Hamburg.

Karlheinz Mund, Berlin.

Isolde Ohlbaum, München.

Все остальные иллюстрации из частного архива Герхарда Вольфа.

Указатель имен

Абуладзе Тенгиз Евгеньевич (1924–1994) — грузинский кинорежиссер, народный артист СССР; снял широко известные фильмы «Мольба» (1968), «Древо желания» (1977), «Покаяние» (1987).

Авдюшко Виктор Антонович (1925–1975) — народный артист РСФСР, сыграл в кино свыше 60 ролей.

Адмони Владимир Григорьевич (1909–1993) — русский лингвист, литературовед, переводчик и поэт.

Ажаев Василий Николаевич (1915–1968) — русский писатель.

Айтматов Чингиз Торекулович (1928–2008) — киргизский и русский писатель, главный редактор журнала «Иностранная литература» (1988–1990); лауреат Ленинской премии (1963) и Государственной премии СССР (1968, 1977, 1983).

Альберти Рафаэль (1902–1999) — испанский поэт, в 1937–1977 гг. в эмиграции.

Альенде Госсенс Сальвадор (1908–1973) — президент Чили в 1970–1973 гг.; один из организаторов и лидер Социалистической партии Чили; погиб во время военного переворота.

Амаду Жоржи (1912–2001) — знаменитый бразильский писатель.

Ананд Мулк Радж (1905–2004) — известный индийский писатель.

Апель Ганс Эберхард (1932–2011) — немецкий политик, социал-демократ.

Арагон Луи (1897–1982) — французский писатель, один из основателей сюрреализма.

Арним Беттина фон (1785–1859) — немецкая писательница, одна из значительных представительниц романтизма.

Бакланов Григорий Яковлевич (1923–2009) — русский писатель, широко известный благодаря своим книгам о войне; в 1986–1993 гг. — главный редактор журнала «Знамя».

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) — русский поэт-символист.

Бар Эгон (1922–2015) — немецкий политик (СДПГ), автор ключевой идеи новой восточной политики правительства Вилли Брандта «Изменения путем сближения».

Бахман Ингеборг (1926–1973) — австрийская писательница, поэтесса.

Бёлендорф Казимир Ульрих (1775–1825) — немецкий писатель и драматург.

Бёлль Генрих (1917–1985) — немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии (1972).

Беляускас Альфонсас (р. 1923) — литовский писатель.

Берггольц Ольга Федоровна (1910–1975) — русская поэтесса, особенно известная своими стихами о блокаде Ленинграда.

Бехер Иоганнес Роберт (1891–1958) — немецкий писатель, теоретик искусства, государственный и общественный деятель (ГДР).

Биргер Борис Георгиевич (1923–2001) — русский художник, участник Великой Отечественной войны; примыкал к неофициальному искусству, продолжая традиции символизма.

Бирман Вольф (р. 1936) — немецкий бард, один из самых известных диссидентов в ГДР; в 1976 г. был лишен гражданства ГДР.

Битов Андрей Георгиевич (р. 1937) — русский писатель, литературный критик.

Бобровский Йоханнес (1917–1965) — немецкий писатель и поэт; роман «Литовские клавиры» вышел в русском переводе в 1969 г.

Богатырев Константин Петрович (1925–1976) — русский филолог-германист, поэт-переводчик.

Бондарев Юрий Васильевич (р. 1924) — русский писатель, общественный деятель.

Брандт Вилли (1913–1992) — немецкий политик (СДПГ), федеральный канцлер ФРГ в 1969–1974 гг.

Бредель Вилли (1901–1964) — немецкий писатель и общественный деятель (ГДР).

Брик Лиля Юрьевна (1891–1978) — муза и возлюбленная В. Маяковского.

Бродский Иосиф Александрович (1940–1996) — русский поэт, в 1972 г. был вынужден покинуть СССР, с 1974 г. жил в США; лауреат Нобелевской премии (1987).

Бунин Николай Николаевич (1920–2003) — переводчик немецкой литературы.

Буш Эрнст (1900–1980) — немецкий певец, драматический актер; исполнитель революционных и рабочих песен, сотрудничал с Б. Брехтом.

Быков Василь (Василий) Владимирович (1924–2003) — белорусский писатель.

Вайзенборн Гюнтер (1902–1969) — немецкий писатель (ФРГ).

Вайнерт Эрих (1890–1953) — немецкий поэт-коммунист.

Вальтер фон дер Фогельвейде (ок.1170—ок.1230) — немецко-австрийский поэт-миннезингер.

Василевская Ванда Львовна (1905–1964) — польская писательница; с 1939 г. жила в СССР.

Вигдорова Фрида Абрамовна (1915–1965) — русская писательница, участница правозащитного движения.

Вознесенский Андрей Андреевич (1933–2010) — русский поэт, публицист, художник и архитектор.

Вольф Герхард (р. 1928) — немецкий писатель.

Вольф Конрад (1925–1982) — немецкий кинорежиссер.

Воман Габриела (1932–2015) — немецкая писательница.

Гавел Вацлав (1936–2011) — чешский писатель, драматург, правозащитник, президент Чехословакии (1989–1992), первый президент Чехии (1993–2003).

Гаман Иоганн Георг (1730–1788) — немецкий критик, писатель, религиозный философ.

Гёльц Макс (1889–1933) — немецкий революционер, один из активных участников и организаторов революционных восстаний в Германии.

Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803) — немецкий философ, писатель-просветитель.

Герстенмайер Ойген (1906–1986) — западногерманский теолог, политик, председатель бундестага (1954–1969).

Гинзбург Евгения Семеновна (1906–1977) — автор воспоминаний «Крутой маршрут» о 18-летнем противостоянии испытаниям в сталинских тюрьмах, лагерях, ссылке, осмысленном как победа духа над злом.

Гинзбург Лев Владимирович (1921–1980) — русский писатель и переводчик-германист.

Гинзбург Лидия Яковлевна (1902–1990) — русский литературовед, писательница.

Гладков Федор Васильевич (1883–1958) — русский писатель.

Готше Отто (1904–1985) — немецкий писатель, государственный деятель (ГДР).

Гофман Ганс Йоахим (1929–1994) — министр культуры ГДР.

Гофмансталь Хуго фон (1874–1929) — австрийский поэт и прозаик.

Гранин Даниил Александрович (р. 1919) — русский писатель, эссеист, общественный деятель.

Грасс Гюнтер (1927–2015) — немецкий писатель, скульптор, художник, график; лауреат Нобелевской премии (1999).

Грюн Макс фон дер (1926–2005) — немецкий писатель.

Гугнин Александр Александрович (р. 1941) — русский и белорусский литературовед, критик и переводчик.

Гудайтис-Гузявичюс Александрас (1908–1969) — литовский

писатель, государственный деятель.

Гупперт Хуго (1902–1982) — австрийский поэт, переводчик русской поэзии.

Гюндероде Каролина фон (1780–1806) — немецкая писательница-романтик.

Джалиль Муса Мустафович (1906–1944) — татарский поэт, Герой Советского Союза, казнен в фашистской тюрьме.

Донелайтис Кристионас (1714–1780) — литовский поэт, пастор.

Дымшиц Александр Львович (1910–1975) — русский литературовед, литературный и театральный критик, редактор сценарно-редакционной коллегии Госкино СССР (1963–1966).

Ерусалимский Аркадий Самсонович (1901–1965) — русский историк, основные труды по внешней политике Германии.

Зегерс Анна (1900–1983) — немецкая писательница.

Инбер Вера Михайловна (1890–1972) — русская поэтесса.

Йост Ганс (1890–1978) — немецкий драматург и поэт; сотрудничал с нацистами, в 1935 г. возглавил Имперскую палату литературы.

Каверин Вениамин Александрович (1902–1989) — русский писатель и сценарист.

Казаков Юрий Павлович (1927–1982) — русский писатель.

Кант Герман (1926–2016) — немецкий писатель.

Карельский Альберт Викторович (1936–1993) — выдающийся русский ученый-германист и переводчик.

Каринцева Инна Николаевна (1920–1994) — переводчик немецкой литературы.

Карпов Владимир Васильевич (1922–2010) — русский писатель, публицист и общественный деятель.

Катаев Валентин Петрович (1897–1986) — русский писатель.

Кацева Евгения Александровна (1920–2005) — русский литературовед и переводчик.

Келлер Готфрид (1819–1890) — швейцарский немецкоязычный писатель и поэт.

Келлерман Бернхард (1879–1951) — немецкий писатель.

Кёппен Вольфганг (1906–1996) — немецкий писатель, один из самых значительных авторов в немецкой литературе XX века.

Кирш Сара (1935–2013) — немецкая поэтесса.

Клаудиус Эдуард (1911–1976) — немецкий писатель (ГДР).

Клейст Генрих фон (1777–1811) — немецкий писатель-романтик, поэт и драматург.

Клопшток Фридрих Готлиб (1724–1803) — немецкий поэт.

Когоут Павел (р. 1928) — чешский и австрийский писатель, драматург, поэт, участник движения «Пражская весна».

Копелев Лев Зиновьевич (1912–1997) — русский писатель, литературовед, переводчик; с 1960-х гг. участник правозащитного движения, с 1980 г. жил в вынужденной эмиграции в Германии.

Корнейчук Александр Евдокимович (1905–1972) — украинский драматург, общественный деятель.

Косик Карел (1926–2003) — чешский философ-неомарксист, историк; поддерживал «Пражскую весну».

Кузмин Михаил Алексеевич (1875–1936) — русский писатель, композитор.

Курелла Альфред (1895–1975) — немецкий писатель и переводчик, деятель СЕПГ (ГДР).

Лиобите Альдона (1915–1985) — литовская писательница.

Мазур Курт (1927–2015) — немецкий дирижер, в 1970–1996 гг. руководил оркестром лейпцигского Гевандхауса.

Май Карл (1842–1912) — немецкий писатель, автор приключенческих романов.

Максимов Владимир Емельянович (1930–1995) — русский писатель, публицист; с 1974 г. жил в эмиграции.

Мальро Андре (1901–1976) — французский писатель, искусствовед, политический деятель.

Мандельштам Надежда Яковлевна (1899–1980) — русская писательница-мемуаристка, жена поэта О. Э. Мандельштама.

Марков Георгий Мокеевич (1911–1991) — русский писатель.

Маркузе Герберт (1898–1979) — немецко-американский философ и социолог, представитель франкфуртской школы; оказал большое влияние на идеологию левоэкстремистских элементов на Западе.

Марше Жорж (1920–1997) — генеральный секретарь французской компартии в 1972–1994 гг.

Матвеева Новелла Николаевна (1934–2016) — русская поэтесса, бард, литературовед.

Медведев Рой Александрович (р. 1925) — русский публицист, писатель-историк, представитель левого крыла в диссидентском движении в СССР.

Млечина Ирина Владимировна (р. 1935) — русский литературовед, германист, переводчик, журналистка.

Моравиа Альберто (1907–1990) — итальянский писатель.

Мотылева Тамара Лазаревна (1910–1992) — русский литературовед.

Мунд Карлхайнц (р. 1937) — известный немецкий режиссер-документалист.

Мурадян Катарина Еноковна (р. 1949) — русская журналистка, переводчик.

Неруда Пабло (1904–1973) — чилийский поэт.

Нонешвили Иосиф Элиозович (1918–1980) — грузинский поэт.

Образцов Сергей Владимирович (1901–1992) — русский актер и режиссер, с 1931 г. руководил Центральным театром кукол в Москве.

Озеров Лев Адольфович (1914–1996) — русский поэт, автор книг о поэзии.

Орлова Раиса Давыдовна (1918–1989) — русская американистка, критик, писательница, переводчик; жена Л. З. Копелева.

Оэ Кэндзабуро (р. 1935) — японский писатель, лауреат Нобелевской премии (1994).

Пиросманашвили Нико (ок. 1862–1918) — грузинский художник-примитивист.

Пичман Зигфрид (1930–2002) — немецкий писатель.

Райман Бригитта (1933–1973) — немецкая писательница (ГДР).

Райх-Раницкий Марсель (1920–2013) — немецкий литературный критик и публицист.

Рекемчук Александр Евсеевич (р. 1927) — русский писатель, сценарист.

Решке Томас (р. 1932) — немецкий переводчик русской литературы.

Рудницкий Михаил Львович (р. 1945) — русский литературовед и переводчик-германист.

Рюриков Борис Сергеевич (1909–1969) — русский литературный деятель, журналист; главный редактор «Литературной газеты» (1953–1955) и журнала «Иностранная литература» (1963–1969).

Сангуинети Эдоардо (1930–2010) — итальянский писатель, поэт, переводчик.

Сая Казис (р. 1932) — литовский писатель и драматург.

Северянин Игорь (1887–1941) — русский поэт.

Севунц Гарегин Севиевич (1911–1969) — армянский писатель.

Смирнов Сергей Сергеевич (1915–1976) — русский писатель.

Собко Вадим Николаевич (1912–1981) — украинский писатель.

Спасская Вероника Сергеевна (1933–2011) — русский филолог-испанист, переводчик.

Стеженский Владимир Иванович (1921–2000) — переводчик немецкой литературы.

Стейнбек Джон Эрнст (1902–1968) — американский писатель.

Сурков Алексей Александрович (1899–1983) — русский поэт, общественный деятель.

Сучков Борис Леонтьевич (1917–1974) — русский литературовед.

Тауфер Иржи (1911–1986) — чешский поэт, переводчик.

Твардовский Александр Трифонович (1910–1971) — русский поэт; главный редактор журнала «Новый мир» (1950–1954; 1958–1970).

Тендряков Владимир Федорович (1923–1984) — русский писатель.

Топер Павел Максимович (1923–2006) — русский писатель, литературовед.

Тракль Георг (1887–1914) — австрийский поэт.

Трифонов Юрий Валентинович (1925–1981) — русский писатель.

Уайлдер Торнтон (1897–1975) — американский прозаик и драматург.

Уилсон Митчелл (1913–1973) — американский писатель.

Ульбрихт Вальтер (1893–1973) — немецкий политик (ГДР); председатель Государственного совета ГДР с 1960 г.

Фалин Валентин Михайлович (р. 1926) — советский дипломат, историк.

Фальк Роберт Рафаилович (1886–1958) — русский художник.

Фарнхаген Рахель фон (1771–1833) — немецкая писательница, хозяйка литературного салона.

Федин Константин Александрович (1892–1977) — русский писатель.

Фейхтвангер Лион (1884–1958) — немецкий писатель.

Флеминг Пауль (1609–1640) — поэт немецкого барокко.

Фрадкин Илья Моисеевич (1914–1993) — русский литературовед, критик.

Фридлянд Софья Львовна (1928–2006) — переводчик немецкой и скандинавской литературы.

Фриш Макс (1911–1991) — швейцарский писатель.

Фюман Франц (1922–1984) — немецкий писатель.

Хагельштанге Рудольф (1912–1984) — немецкий поэт и прозаик.

Хагер Курт (1912–1998) — немецкий политик, видный государственный деятель ГДР.

Хаммер Франц (1908–1985) — немецкий писатель (ГДР), публицист, литературный критик.

Хёпке Клаус (р. 1933) — политический деятель ГДР (СЕПГ), заместитель министра культуры ГДР.

Хермлин Стефан (1915–1997) — немецкий писатель, поэт, переводчик (ГДР).

Хонеккер Эрих (1912–1994) — немецкий государственный и политический деятель (ГДР), в 1971–1989 гг. — первый секретарь ЦК СЕПГ.

Хорват Эден фон (1901–1938) — австрийский писатель и драматург.

Хухель Петер (1903–1981) — немецкий поэт.

Цвейг Арнольд (1887–1968) — немецкий писатель и общественный деятель (ГДР).

Циммеринг Макс (1909–1973) — немецкий писатель.

Чуковская Лидия Корнеевна (1907–1996) — русская писательница, дочь К. И. Чуковского.

Чюрлёнис Микалоюс Константинас (1875–1911) — литовский художник и композитор.

Шагал Марк (1887–1985) — выдающийся французский живописец и график, выходец из России.

Шпербер Манес (1905–1984) — немецкий и французский писатель, эссеист, социальный психолог.

Штауфенберг Клаус Филипп Мария фон (1907–1944) — граф, полковник вермахта, один из руководителей июльского заговора 1944 г. против Гитлера.

Штритматтер Эва (1930–2011) — немецкая писательница и поэтесса; жена Эрвина Штритматтера.

Штритматтер Эрвин (1912–1994) — немецкий писатель.

Эйслер Ганс (1898–1962) — немецкий композитор.

Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) — русский писатель, поэт, публицист.

Эрхард Людвиг (1897–1977) — западногерманский политик (ХДС), федеральный канцлер в 1963–1966 гг.

Эткинд Ефим Григорьевич (1918–1999) — русский критик, литературовед, переводчик, с 1974 г. жил в вынужденной эмиграции.

Над книгой работали

Редактор Ю. И. Зварич
Художник Т. О. Семенова
Художественный редактор К. Ш. Баласанова

Издательство «Текст»
E-mail: text@textpubl.ru
www.textpubl.ru
Электронная версия книги подготовлена компанией Webkniga.ru, 2017

notes

Примечания

1

Ныне Гожув-Велькопольски, Польша. (*Здесь и далее примеч. переводчика.*)

2

Юст — честный и верный слуга, персонаж пьесы г. Лессинга «Минна фон Барнхельм».

3

Имеется в виду Конференция писателей стран Азии и Африки, состоявшаяся в Ташкенте 7–13 октября 1958 года.

4

В письме, написанном по-русски, сохранена пунктуация автора.

5

Не вполне точная цитата из письма Б. Пастернака Сталину (1932): «Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глубоко и упорно думал о Сталине; как художник — впервые. Утром получил известие. Потрясен так, точно был рядом, жил и видел».

6

Роман Б. Райман «Вступление в будни» вышел в русском переводе в 1964 г.

7

Не вполне точная цитата из письма Б. Пастернака Сталину (1932): «Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глубоко и упорно думал о Сталине; как художник — впервые. Утром получил известие. Потрясен так, точно был рядом, жил и видел».

8

Имеется в виду состоявшаяся в середине мая 1965 г. Международная встреча писателей, посвященная 20-й годовщине освобождения Германии от фашизма и 30-летию Международного конгресса писателей в защиту культуры в Париже.

9

Видимо, речь идет о поэме «Итальянские слезы» (1965).

10

Пляска смерти (*фр*.).

11

Славная женщина… адвокат (*фр.*).

12

Ресторан в Старой Гагре.

13

Видимо, Карел Косик (1926–2003) — чешский философ-неомарксист и гуманист.

14

«Оле Бинкоп» — роман Э. Штритматтера.

15

Город Лиепая (Латвия).

16

Город Познань (Польша).

17

Имеются в виду А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль, в 1966 г. осужденные за публикацию «антисоветских» произведений.

18

Неведомая земля (*лат.*).

19

Круглый стол (*англ.*).

20

Возможно, имеется в виду Расул Гамзатов.

21

Персонаж пьесы Т. Уайлдера «Наш городок» (1938).

22

Перевод г. Бергельсона.

23

В конечном счете, в целом (*лат.*).

Малая родина (*исп.*).

25

Особая премия (*ит.*).

26

Премия Монделло (*ит.*).

27

ВОКС — Всесоюзное общество культурных связей с заграницей.

«Радио Свобода» (*англ.*).

29

«Народное единство» (*исп.*) — политический блок в Чили, который возглавлял С. Альенде.

30

Имеется в виду Фракция Красная армия — левоэкстремистская террористическая группировка, на начальном этапе своей деятельности носившая также название группа Баадера — Майнхоф по именам ее основателей.

31

Перевод П. Грушко.

32

Перевод А. Науменко.

33

И. В. Гёте. Западно-восточный диван. Книга Зулейки. Перевод В. Левика.

Перевод А. Науменко.

35

К. Вольф. Уроки чтения и письма. Перевод г. Бергельсона.

36

И. В. Гёте. Фауст. Перевод Б. Пастернака.

37

Перевод Э. Венгеровой.

38

И. В. Гёте. Парабаза. Перевод Н. Вильям-Вильмонта.

39

И. В. Гёте. Четыре времени года (49). Перевод С. Соловьева.

40

Неточная цитата из «К радости» Ф. Шиллера.

41

Образцы опыта. Дискуссия о книге «Образы детства». Перевод Н. Федоровой.

42

Книга «Криста Вольф. От первого лица» вышла в издательстве «Прогресс» в 1990 г.

43

«Образы детства» опубликованы в трех номерах «Знамени» (6–9) за 1989 г.

Памяти (*лат.*).

45

Здесь и ниже «Что остается» цитируется в переводе И. Щербаковой.

46

Ф. Шиллер. Кубок. Перевод В. Жуковского.

47

Г. фон Гофмансталь. Терцины о бренности всего земного. Перевод В. Топорова.

Человек играющий (*лат.*).

49

От бытия к Ничто и от Ничто к бытию (*фр.*).

Третьего не дано (*лат.*).

51

Евангелие от Иоанна, 1:46.